

МАРИНА ГАРБЕР
КАЖДЫЙ В СВОЕМ РАЮ
СТИХОТВОРЕНИЯ



МАРИНА ГАРБЕР
КАЖДЫЙ
В СВОЁМ РАЮ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВОДОЛЕЙ
МОСКВА
2015

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
Г20

На обложке фото Геннадия Михеева
из альбома «Провинция. Оттенки серого»

Гарбер М.

Г20 Каждый в своем раю: Стихотворения. — М.: Водолей, 2015. — 160 с.

ISBN 978–5–91763–253–7

Марина Гарбер — поэт, эссеист. Родилась в Киеве, Украина. Эмигрировала в 1989 году. Жила в США и Европе. Магистр искусств, выпускница факультета иностранных языков и литературы Денверского университета (University of Denver, Colorado, USA). Преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор трех поэтических сборников: «Дом дождя» («Побережье», Филадельфия, 1995), «Час одиночества» («Побережье», Филадельфия, 1999), «Между тобой и морем» («Новый журнал», Нью-Йорк, 2008). Живет в Люксембурге.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

ISBN 978–5–91763–253–7

- © М. Гарбер, 2015
- © Г. Михеев, фото, 2015
- © М. и Л. Орлушины, оформление, 2015
- © Издательство «Водолей», оформление, 2015

ТРАЕКТОРИЯ.

СТРЕЛ



Человек без прошлого лежит на спине,
Веки опущены, взгляд — вовне:
Позывное мигание в потолок.
Сверху-снизу — небесный, морской ли бог? —
Как пятно на карте, нераспознаваем.
Человек — это остров — необитаем.

Человек без любви шевелит рукой,
А под ней река говорит с рекой,
Обжигает ладонь меловой песок,
На рассветном небе горит восток,
Но и тот исчезнет в завесе туч.
Человек — это зверь — живуч.

Человек без будущего зажигает маяк,
Никого вокруг, чтоб сказать, дурак,
Твой огонь не разбудит того, кто спит,
Потолок над тобой — монолит, гранит,
И стучать в него, что воду толочь,
Человек потерянный, бестолочь.

Человек плывет мимо белых врат,
Окаянный остров, треклят, заклят,
Жжет последний уголь и керосин
Под морской баюкающий клавесин,

Прикрывает последний клочок спиной.
Человек — это суша, Ной!

Человек без имени плывет налегке,
Только мысль о потопленном материке
Прожигает от головы до ступни,
Только чайки клеочут над ним: распни!
Но некого ни распять, ни обнять.
Человек — это пустая пядь.

Человек вне времени, посмотри,
Сколько мертвой зелени вне земли:
Прорастают водоросли сквозь грудь,
В глотке илова вызревает муть,
Пресноватая в жилах течет вода —
Человек, гореть тебе от стыда!

Человек без корней ощущает спиной
Иллюзорную близость с былой страной,
Что, однажды сгинув, не родилась,
У ворот осела, стопталась в грязь...
Но не гаснет огненный окоем —
Человек — этот свет в проем.



На огромной карте, как волос, она тонка:
Моя родина — это изогнутая река,
Я живу на ее натянутой тетиве,
В своевольном русле, негреющем рукаве.

А по швам пролегает глинистый известняк,
Золотой песок, оседая под ним, обмяк,
Не летают птицы, темно, и который год
Ничего живого вдоль берега не растет.

Надо мной роятся розовые мальки,
Их сачками черпали brave рыбаки,
Но однажды лодка дала роковую течь,
И с тех пор затихла в округе живая речь.

Это раньше, раньше впадала река туда,
Где от рыбьей крови соленой была вода,
И двоилось небо, и плавила бирюза
Два огромных солнца — как рыбы мои глаза.

Я живу на самой отчаянной глубине,
Даже редкий камень не долетит ко мне,
А беззвучно канет в подземных ее путях,
В темноте излучин, протершихся на локтях.

Обо мне не знает ни мель, ни сама река —
О пустых потугах шершавого плавника
Дотянуться, согнуть, доплыть до такого дна,
Где в пробитой лодке морская звезда видна.



Не всё ль равно, как город назовешь —
Немецким бургом или русским градом?
Убрали урожай, пожали рожь,
Но хлеб — не хлеб, и дом — не дом, а пра́дом.

Назавтра окольцуется зимой,
Застынет, вещь в себе, подобьем льдины,
И ворон, позабыв, что — за спиной,
От кромки пробежит до середины.

Зима, где купола и ни кола,
Жизнь умещает в скважине замочной,
Жизнь — два забытых за спиной крыла —
В лед — траурным контрастом ненарочным.

Нечаянным... Теперь и места нет!
Не чаяли, а вот — мука́ и перья
Летят к земле, что мотыльки на свет,
Что жизнь — в себя — за стиснутою дверью.

Не всё ль равно, как назовешь свой дом,
Страну, погост — каким прельстишься дымом,
Когда поймешь, что суть не в нем, а в том,
Что вороном прикинулось бескрылым.

Застынет тень на том конце реки,
Ей по весне — скукожиться и стоять.
И тянут крылья снегомотыльки,
Короткие и легкие, как память.



Нынче ветер жесток и остер,
многокрыло январское вече —
на перроне шумит контролер,
по-над взлетной бушует диспетчер.

Нынче небо до самых краев
наполняется липкой водицей,
безбилетно шумит воронье,
расправляет крыла проводница.

Пропетляет впотьмах колея
да скукожатся рельсы косые,
век учишь — «оставаться нельзя
улетать» — проставлять запятые.

Каждой птице положен приют
и покой наднебесного сорта,
а потом обещают салют
над просторами аэропорта.

Завтра новый взойдет сердолик,
полумесяц, всплывающий в кадке.
Что же медлит суровый старик
в на глаза нахлобученной шапке?

Он застыл посреди мелюзги
в неподвижно стоической позе —
то ли сердце ушло в сапоги,
то ли окаменел на морозе.

Старец Время стоит у дверей,
как захид, погруженный в аскезу,
чтоб последний из всех снегирей
до конца досвистел Марсельезу.



Войну и мир звонят колокола,
Поспешна месса, не саднят колени,
В прикрытии бетона и стекла
Сгущаются, выстраиваясь, тени.
Стремительные сборы, марш-бросок,
В чугунном рту дрожит язык не вещей,
А память – как солдатский вещмешок,
Куда простые складывают вещи.

Прошелестев травой по тишине,
Пройдут солдаты пыльными дворами,
Оставив миру мир, войну войне,
А там и травокос не за горами:
Проженный воздух, жаркая постель,
Горит металл под раскаленным локтем,
Как эта надземная акварель,
Намеренно изгвазданная дегтем.

И женщину, одетую легко,
Качает ветер, ухватив за бедра,
Чтоб пенилось парное молоко,
Стекая в оцинкованные ведра.
Мы вспомним, как прощались у огня,
Как лес пылал, глазастый филин окал,
И липкая от пота пятерня
С трудом смывалась с запотевших стекол.

НОВОБРАНЕЦ

А у нас еще светло в ноябре,
Световую отпустили струну,
Чтобы мальчики в соседнем дворе
В настоящую играли войну.

Чтобы птица, устремляясь на юг,
Каменела, словно крест на весу,
Чтобы чашки выпадали из рук
От внезапной канонады в лесу.

Разбегутся кто куда муравьи,
Их настигнет грозовой камнепад.
Для романтиков — война без любви,
Что без вишни приусадебный сад.

И куда бы пьяный ветер ни дул,
У канавы, на пологом краю
Новобранец различает сквозь гул
Медсестринское глухое «люблю».

Тщетно мама зазывает домой,
За решетку в глинобитном торце,
Там, под вишнею, лежит рядовой —
Брызги сока на счастливом лице.



Напомни мне, в каком-таком аду
К ним прилетали сказочные птицы,
И ангелы играли в чехарду,
Неразговорчивы и бледнолицы?

Им нравилась серьезная игра
По правилам вольера: детки в клетке,
Но дворник выметает со двора
Не пригодившиеся для растопки щепки.

Ты ненавидишь слово «ад», но мне
В нем слышится детсадовское что-то:
Игра в войну, и в ней, как на войне,
В нас яблоки летят из пулемета.

Покуда саблевидная трава
Растет из-под строительной щебенки,
В песочнице волчок или юла
Буравят ямки, выемки, воронки.

И сахарное сыпется драже
На эти головы, на эту долю пташью,
Как будто на последнем этаже
Художник зерна выпачкал гуашью.

Здесь, на девятом огненном витке
Не ухватиться и не упереться,
Скользить по пламени — так дети на катке
Играют в олимпийских конькобежцев.

Им остается втиснуть в эту клеть
Царапины, коленки, плети ивы...
Они еще не знают слова «смерть»,
И всё еще непоправимо живы.



Фонарный луч — след от пореза, звезды серьга,
Ночное мягкое железо — медь и фольга.

Стоит солдатик безъязыкий, такой как все —
Меч оловянный, пятна, блики, глаза в росе.

Орнамент каверзен и тонок: крапль, бирюза,
И замороженный ребенок — во все глаза.

Смотри, пока не оторвали от красоты!
Ты вылит из такой же стали — и ты, и ты.

Пока поблескивают ножны в ночной реке,
Держи прообраз осторожно в своей руке.

А у него (ах, у него ли?) — лес за спиной,
И горлом олово — от боли — волной, волной.

Миниатюрен и зеркален щит из фольги,
Из мастерских и наковален таких — полки.

Под тесаком и молоточком — нектар, пыльца,
Сверкают пуговики, цепочки и пот лица.

Поляжет в выправке и стати отряд и полк...
Да новых вылепит ваятель — он знает толк.

ДЕВОЧКА НА МОСТУ

На мосту стоит девочка, еще молодая, уже старуха,
ноготки, каблочки, колечко продето в ухо,
ветер ее покачивает, словно лодчку,
теребит рукава, парусиновую юбчонку.
У нее под ногами — застывшая кровь цемента,
под бетоном — автомобилей цветная лента,
выхлопные метафоры: жизнь — скоростная трасса
цвета лобового стекла, неживой пластмассы,
запаха коньяка и воды из Кельна,
интонаций без вариаций — от «смирно» к «вольно»,
там живут на святой воде, ячмене и яде,
уплотняют ряды, равняясь, как на параде,
рассчитываются по одному, поднимают флаги —
лоскуты невоспламеняющейся бумаги,
справа кричат «война», воздвигают стены,
из картона, соломы, льна, полиэтилена,
а слева ложатся спать, покрывают мили,
смотрят сны про то, как мы победили.

У старушки-девочки дряню полны карманы:
горсть таблеток, мелочь, нечищенные каштаны,
пузырек с настойкой, ключи, нашатырь и вата,
письмецо без марки и даже без адресата.

А вокруг нее пританцовывает, резвится ветер,
говорит, и тебе есть место на этом свете —
для родного хлеба, гнезда, своего насеста,
а она стоит на мосту — и ни шагу с места.
Он поет, что рассеет воздух копченый, мглистый,
что внизу заждались священники и туристы,
наготове линзы, камеры, фотовспышки,
накладные ресницы и выбритые подмышки.
Озирается, осыпается, ветру верит,
ищет дверь в стене — где еще могут быть двери?
Ну, глоток, ну шажок, ну рывок, остальное — титры:
поскользнется ли, обернется ли, долетит ли?
И она растворяется в теплом, густом тумане,
рассыпая по ветру скарб из дыры в кармане.



В канцелярии той аскетично и небогато,
На столе — молоко, гладкокожая курага,
Там не могут решить, то ли брату пойти на брата,
То ли другу обнять искуснейшего врага.

А над белыми спинами — створчатое оконце,
В нем, что южное море, взволнованно, горячо
Занимается день и вдоль рамы сочится солнце
На лебяжье крыло да на ангельское плечо.

Это райская четкость: без скорлупы орешек,
Молоко без осадка раскрошенного стекла,
Это жест, уводящий ферзя от бессчетных пешек,
Невеликое зло — от большого, как горе, зла.

Легкокрыло замрет над неспешной вечерей стая,
Скоро кончится свет и во сне покорится днесь.
Всё давно решено, помолчи теперь, выбирая,
Кто из них протрубит в полутьму неблагою весть.

Застывает река, леденеют края излуки,
Даже вечная Припять покроется льдом к утру.
Это яблочный сбор, и бессильно роняют руки
Посеребрённых яблочек лучистую кожуру.



Тогда, я помню, не было зимы,
Она всё обещалась и хрипела,
Но небо над землей оранжевело,
Как мякоть передержанной хурмы,
И, монументы заливая густо,
Свет обращал их в новое искусство.

А в воздухе играли в домино —
То воронье, то взмыленные чайки.
Девчонки надевали разлетайки,
Мальчишки покупали эскимо,
Снег назревал и целился в гранит,
Но солнцем был в заоблачье убит.

Еще, ты помнишь, пробежал шумок:
Наш городок отплыл от континента
И замелькал размытой кинолентой —
Не разберешь, где запад, где восток:
Горят кресты в зигзагах и разводах,
И мы в массовке, то есть в эпизодах.

Мы распускали крылья-рукава,
Глотали воду, выдыхали плесень.
Там женщины не заводили песен
И не играла в игры детвора,
Но кто из них тогда не понимал,
Девятый круг и есть девятый вал?

Лететь во сне — расти, и мы растем,
Наш океан теплой иной постели,
Всё правильно, мы жить не захотели,
И не живем и, всё-таки, живем,
 А присмотришь, спасательнейший круг
 Из стольких слов — цепочкой — стольких рук!
Мы так и не проснулись, этот год
Вошел в историю как самый безмятежный:
Плывут пятиэтажки по Манежной,
Из окон свет — гречишный мед из сот...
 А мы на дне — давно и глубоко,
 И нам с тобой не дышится легко.



Глазастый филин прячется в дупле,
Срываются с ольхи сороконожки,
А мы в беззвучной полегли зиме,
Как в животе раскрашенной матрешки.

Здесь тихо так, и сухо, и тепло,
Знакомый с детства запах древесины,
Снаружи – вьюга, мелом замело
По щиколотки липы и осины.

И нет зиме – или земле – конца,
Она бессрочно катится и длится,
Но ты, как зверь в потемках на ловца,
Бежишь, от рук не отличая лица.

Тебе и здесь, в бескровной тишине,
Мерещатся дыхание и губы,
Но светится отверстие в стене,
Где в землю оседают лесорубы.

Мы – бледные сокровища зимы
(Лак шелушится, отлетает ценник),
Заложники заволжской хохломы,
Но у зимы нет счастья драгоценней.

Когда февральский отстреляет снег,
Она откроет потайные дверцы
И скажет в пустоту: «Се человек —
Без горечи, без имени, без сердца».



БОРИСУ КУТЕНКОВУ

Говорят, зима — это лекарь, врачует зренье,
Терапия светом: не вылечит, так залечит.
Наберись, дружок, до февраля терпенья,
А весной не важно, кого отпевает кречет.

Говорить не нужно — смотреть, ослепляться, снежить,
Сапогом взрыхляя нетающие настилы.
По лесам-болотам попряталась злая нежить,
И не кажет носа, и дышит уже вполсилы.

На ветру дрожит ледяной колокольчик света,
Наведен прожектор над зеркалом запотелым,
Облучая, свет поучает: вот это, это,
Что считалось правым, теперь оказалось левым.

Так смелей, ныряй в кружевное ее убранство,
Шевели хвостом, разрежай перьевые глыбы,
И за это вечное, млечное постоянство
Выдыхай в мороз неразборчивое «спасибо».

Полегли в сугробах скомканные ветрила,
По-хозяйски ветер захлопнул резные дверцы,
И у той, которая в сердце тебя носила,
На поверку вовсе не оказалось сердца.



Каблуков и щебня тугой офсет,
Дождевая влага в резине стелек...
Я смотрю, как ее раздевает свет,
Отделяя пуговики от петелек.

Даже ветер нынче, как мед, липуч,
Под его мотивы — ясней улики,
От стены отпрянув, фонарный луч
Разбивается на черепки и блики.

Мы всю ночь глядим, не смыкая глаз,
И соседи справа, и их ребенок,
Как, топорщась, рвется ее атлас,
Предсказуемо — там, где особо тонок.

Оголяет колено, живот, плечо,
Полновесно небо и ветер — встречный,
И нагрудный поблескивает значок,
Нависающий, колкий, пятikonечный.

Оседают щебень в сырой песок,
Колокольчик вздрагивает над дверью,
Многоцветный флюгерный петушок,
Повернувшись к северу, чистит перья.

А наутро будут жильцы в окне
Наблюдать, ослабившись изумленно,
Как родная улица льнет к стене,
Окликая каждого поименно.



Наш царь-полубог многоопытен и многорука,
Силен, как докшит, и улыбчив, как благостный Шива,
Он первой рукой собирает хрустящий бамбук,
Второй — дирижерски по воздуху водит красиво.

У женщин династии — птицы на ярких платках,
И веки опущены, рисовой тоньше бумаги,
Молочная грудь о шести розоватых сосках
К утру тяжелеет от всеоживляющей влаги.

А он, как дитя, улыбается даже во сне —
Светло, широко, оголяя здоровые десны,
Поскольку бессмертен и сердце его — на сосне,
Но в наших краях не растут ни секвойи, ни сосны.

Он в третьей руке зажимает стальное перо,
Четвертой ребенка сажает себе на колени,
Мы к пятой руке припадаем — мы любим его! —
И лбами неистово бьем о крутые ступени.

И если доносятся звуки из гуц тростника —
Стучат молоточки, в живое вонзаются сверла,
То это не ветер, не птицы — шестая рука
Спокойно и властно ложится на мягкое горло.

Ведь царь справедлив и чужого не жалует зла,
Когтистые пальцы скребут на границе Ханоя,
И если приходится, он выжигает дотла
Кедровое, вечнозеленое и смоляное.

Тяжелые свитки в вишневых лежат стеллажах,
Чертежник державы, ловец расходящихся линий —
Он правит как дышит, но в дымных его чертежах
Виднеется небо и тонкие веточки пиний.



Как придут за мной двое стражников — серый волк
Да овца в доспехах — таких легион, не полк,
Силой мечены, страхом вскормлены, знают толк,
Ибо видят смысл и исполняют долг.

Проведут меня за домами, где бьет ручей,
Здесь я был любим, был отвержен и был ничей.
А на лобном месте по-царски сидит Кашей,
На одной из главных, наряженных площадей.

Под плащом Кашея стальная блестит коса,
По волне бежит свекольная полоса,
Но не скорбь — любовь — выдыхается в паруса,
Расщепляя гул на отдельные голоса:

Так — шутам гороховым! Судьба у них такова!
Поделом Иванушке, не помнящему родства!
Не пришита намертво непреклонная голова,
Бубенцы колпачные покатаются на «раз-два».

На кривых подмостках — покатее крыш земля,
Оступись и — вниз, колокольчиками звеня,
Но тому, кто в спину подталкивает, кляня,
Повторю чужое — в два слова: «Прости меня».

Вождеуют бури, а небо сулит покой —
Кто там сверху смотрит на них с неземной тоской?
Как, на солнце щурясь, царек шевелит рукой
Над волной кипящей, горбатой волной людской.

Как пойдут ко дну неподъемные якоря,
Так уже к утру позабудут меня друзья.
Усмехнется палач, привычно с плеча рубя:
«Правда твоя. И неправда — тоже твоя».



Твой мундир незапятнан и так подозрительно чист,
Что почти невесом, накрахмалены, мнутся манжеты,
Мой любимый поэт, ты сегодня – придворный садист,
По таким временам все садисты – немножко поэты.

Словно липкая кровь, дождевая стекает слюна,
Золотится орешек в дупле у наущенной белки,
Скоро легкое чтиво закончится, так как война –
Дело книжное – буквами сыплут ее перестрелки.

Я слежу за тобой, разыгравшим простую игру,
Безоружным до слез, над невидимым войском склоненным.
Одержимый баталией, ты не припомнишь к утру,
Как тревожно спалось безымянным – пехотным и конным.

Утро всех вечеров, всех бессонных ночей мудреней –
Ни голодных чудовищ, ни черных иголок и нитей,
Ты на минное поле лихих выпускаешь коней,
И тебя не осудят, ведь ты, мой герой, победитель.

Но теперь остается присесть среди комьев и тел,
Где бумажные ивы изогнуты в вечном поклоне, –
Себастьяну рассказывать о траектории стрел
И троянцам шептать о себя победившем Ионе.

НИКТО

ГРИГОРИУ СТАРИКОВСКОМУ

Беспутный ветер вязкого замеса
Не обещает воли и покоя,
Как будто волки вырвались из леса
И воем перекатывают поле.
Стоят дома, привязаны к истокам,
Как табуны на вечном водопое,
Здесь входят в сердце и выходят боком
Любовь и вера в бытие простое.

В глухих пещерах прячутся циклопы,
Во лбах горят прозрачные алмазы,
Чудовища легки и длинно стопы,
Как ящерицы или водолазы.
Лоснятся переполненные соты,
Ячейки с ядом плавятся на солнце,
На жуткий крик слепого: «Кто ты? Кто ты?» —
«Никто» — никто теперь не отзовется.

Герою дня толпа не рукоплещет —
Зачем он здесь геройствует некстати?
И солнечный последний перебежчик
Летит с горы в линялом маскхалате.

Свет побежден, ликуют тарабары,
Ветшает лес, горбятся и лыся,
И на полях в осколках стеклотары
Никто не вспоминает Одиссея.



Безвременье часовщика Дали
Стекает по канве, и может стать,
Что у тебя и у меня в крови
Растворены обман и святотатство.

Настенный переменчив циферблат,
И циферки, что хлипкие прищепки,
Сорвавшись, врассыпную полетят
Как искры из поломанной розетки.

Но город тих, стерилен, как музей,
Плывет назад по направленью к Прусту.
Не прикасайся! За черту не смей!
У нас сегодня новое искусство.

У нас сегодня гром и самосуд,
Мы тоже — артефакты и нетленки,
И нас всем миром скоро понесут,
Чтоб к освещенной присобачить стенке.

Паучья жизнь висит на волоске
От красочной развязки и покоя,
Как будто нас по пьяни и тоске
Намалевал отчаявшийся Гойя.

Лицом к стене стены не увидеть,
Но, чувствуя затылком, без оглядки,
Как время поворачивает вспять,
Корежа позвоночник и лопатки,

Я каждого жалею и люблю,
И вижу сквозь закатную полоску,
Как маленькие люди к алтарю
Несут дары разгневанному Босху.



Мне битое стекло и угольки
Поочередно обжигали нёбо,
Чтоб, запинаясь, вспоминала, чтобы
Жила на расстоянии руки.

Не сотрясала воздух кулаком,
Лишь, стачивая черный карандашик,
Твердила: мы похожи — я из ваших! —
Разрезом глаз и грешным языком.

Единой пуповиной — так родня
Тебе чужда, чем ближе — тем чужее,
Так лампочкам сворачивают шеи
В нетерпеливом поиске огня.

Я правила случайные слова
На неизбежные, не разгибая спину,
Чтоб вместе золотую середину
Качали, засучивши рукава.

Но в люльке — искаженное лицо,
Бесформенная полуправда, словно
Полвзгляда не хватило, полуслова —
И снова размыкается кольцо.

Я бормочу: ату меня, ату,
Без целого не пострадает вычет.
И тихо так, что голуби курлычат
В давно несуществующем саду.



Расти, ветвись, увиливай, река,
Горынь ли, Иордан или Потудань,
Где мертвой хваткой впились в берега
Бездомные слепые облака
И фонари, слезливые, как студень.

Непроницаем этот желтый взгляд,
Жестокосерден, но и в непогоду
Пернатые заступники летят,
От вышек, блокпостов и баррикад
Крылами огораживая воду.

Она тягуча — мед или смола,
Щетинист берег, бурый, словно вепрь.
Я научилась бы, но черта с два,
Нет, это не блаженные слова —
Нева и Лена, Кальмиус и Днепр.

Мне подавай красавицу Янцзы,
Пролегшую от рая до Китая, —
Пошагово постичь ее азы,
И на призыв — пронзи ее! пронзи! —
Не шевельнуться, слов не разбирая.

А в эту реку дважды не войти,
В нее, преступницу, с высот летели камни,
Как ни тянись, не обхватить руками,
С кем ни плыви, всегда не по пути,
Не в унисон с глухими голосами.

Но вся она еще не уткла,
Лишь сделалась мутнее и соленей,
Полощется печаль-моя-светла,
Вдоль щек – бороздки битого стекла
Да светляки искрятся на ладони.



Вдруг приснится, что завтра будет большой потоп,
Побежит лавиной из сна за волной волна.
Разбегутся звери – ты слышишь их гулкой топ?
А за ними воды, смертельные, как война.

И зальют просторы, в пугливых цветочках луг,
То есть, то же море желто-зеленых ртов.
Не уйти-не скрыться, говорю же, приснится вдруг,
А ты спишь и видишь, и к худшему не готов.

А в соседней кухне уже разливают чай,
Припадают к чашкам, как чадо к родной груди.
Так всегда бывает: среди пира и невзначай,
С полудетской верой, что лучшее впереди.

У окна старушка вяжет крючком чепец –
И дитяти польза, и облегчит артрит...
В небе кружат птицы и падают, наконец,
Ибо тот, кто выше, наверное, тоже спит.

Но ему не снятся кошмарные наши сны,
Он, должно быть, видит, как обнимает нас,
Замедляя время и бег ледяной волны,
Не важны ни возраст, ни день, ни который час.

Вот и спи спокойно, последних считай ворон,
Обойдется, думай, всего лишь гроза, гроза...
И когда объятая нахлынут со всех сторон,
Не греби руками, не открывай глаза.

ЧЕРНОЕ

МОЛОКО



Ничего не бойся, скоро-скоро
Мы покинем гулкие просторы,
Родину приемную свою,
Полетим на карликовый остров,
Станем очень маленького роста,
В детском обоснуемся раю.

Там читают сказки про индейцев,
Известью выбеливают тельце
И узор выводят на лице,
Обручи, браслеты, амулеты,
В волосах струящиеся ленты,
Как лучи на Золотом Тельце.

Материк чуть видимый отсюда,
Хрупкий, как китайская посуда,
Углями наполнен до краев.
Резкими воздушными скачками
Движемся, и длинными сачками
Ловим перелетных соловьев.

Мы как дети — золото в остатке,
Мы со взрослыми играем в прятки
И парим над гиблою водой,

Камешками полнятся карманы,
Вечерами добрые шаманы
Нас волшебной кормят резедой.

Кто из кущ глядит на наши игры —
Муравьеды, носороги, тигры —
Как летим с пригорка кувырком?
Ничего не бойся, сами, сами...
Ангелы с мышинными хвостами
Черным угощают молоком.

Нам, когда-то срубленным под корень,
Проклятым и вытопанным — вровень
С мостовой, неведома тоска.
И со всех сторон островитяне,
Как тычинки в огненном тюльпане,
Тянутся из жаркого песка.

Завтра будем мы неуязвимы,
Будет праздник сердца, именины
Мертвых душ, не знающих любви.
А песок вдоль берега — что порох...
Заводи считалку: «Молох, Молох,
Где же руки сильные твои?»



Вдоль речки, по недотканному льну,
Где камыша убористый заборчик,
Идти на ощупь – так слепой стекольщик
Нащупывает раму, как струну.

Вдоль полосы пустой береговой
В лиловом свете сумерек неспешных
Водить рукой – так крестит постовой
Рассеявшихся в воздухе безгрешных.

Но только воздух катится из рук,
И – пухом камышовая ограда,
Прилив – так обессиленный хирург
Идет к тебе, не поднимая взгляда.

Врастая корнем в топкий переговой,
Не вырываясь из тягучей глины,
Естественно – так скульптор надземной
Разглаживает грубые морщины.

Песчаное и водное родство
Последнее прокладывает русло –
Так смерти безыскусное искусство
Одолевает жизни мастерство.



У нее походка Ариадны,
Пенелопин терпеливый взгляд,
Эвридикин, будь она неладна,
Поворот в грядущее «назад».

А в руках посверкивают спицы,
Шерстяной клубок пронзила ось,
Будто бы лицо самоубийцы
От догадки светом занялось.

Прожит день вчерашний, да и был ли?
Замерзает на ветру белье,
Однодневок скомканные крылья
Нежно подбирает острие.

И не разглядеть на расстоянье,
Протыкала или же ткала —
Эти перепонки барабаны,
Эту скатерть с грязного стола.

Капюшон легко и домотканно
Скулы скрыл, коса наперевес —
И она является нежданно,
Как любовь, как чудо из чудес.



Мой ветер, мой мастер, гордец-стеклодув,
В тебя завернусь и усну.
Бульжник в кармане Вирджинии Вулф
Настойчиво тянет ко дну.

Ты дуешь, ваяешь, ты гладко течешь —
Вслепую, впотьмах, наугад.
Так газ слезоточит — в озноб или в дрожь —
На кухне у Сильвии Плат.

Мне так одиноко на крыльях твоих,
Что хочется выть или петь.
У Дикинсон так: что ни день, что ни стих —
Лошадка, извозчик и смерть.

Вот вылился город, вот дом, вот соха,
Вот льется по улочкам Глюк...
А вот — по-цветаемски ищет рука
Спасательный круг или крюк.

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВА

На этой фотографии истлевшей
он молод и красив, не поседевший,
без сигаретной горечи во рту,
и губы не искривлены устало,
белеет дверь, и умывальник справа
еще не копит ржавь и мокроту.

Он смотрит неподвижно, виновато,
из рамки, словно скомканная вата
из рамы, тихо выпадает взгляд,
он знает, что закончится досрочно,
и в том, что келья эта — одиночна,
никто-никто не будет виноват.

Что будет петербургская квартира,
в авоське килька и бутыль кефира,
сосед с похмелья слышен за версту,
что в миске будет пресно и не густо,
но нужно есть, и что-то там из Пруста
цитировать притихшему коту.

Тетрадь в линейку, белый карандашик
скользит по междустрочию и пляшет,
па де буре заметок — о вещах
невидимых, но вещьностью чреватых,
где гарпии в застиранных халатах —
что девушки в нетающих плащах.

На одеяле тонкие разводы,
чернильные, лиловые, как своды
вокзальных арок — проскочи в проем
и будь таков, а мирозданье рухнет,
хоть бабушка еще молчит на кухне
о чем-то отдаленном и своем.

Но этот взгляд — печальной мысли вестник,
неяркий, как в шкафу забытый крестик,
как смысла не имущий звукоряд —
проходит по наклонной, по прошедшей,
где люди говорили, «сумасшедший»...
Но мало ли, что люди говорят.

ДЕВОЧКИ

Есть такие —

спрессованные из марсового песка,
животы у них гладкие, без пупка,
тяжела походка, рука легка,
и когда другие
надрывают от смеха себе бока,
видя, что вместо волос у них — облака,
смотрят снизу вверх, но кажется, свысока,
и светятся, если нагие.

Отродясь,

они сами вылепливали себя,
не для мамы и папы, вообще — не для,
высятся, соляные столпы, не огля-
дываясь,
и двоясь, как дорогой расколотые поля,
как ручьями распоротая земля,
обезветвленные тела свои для
и длясь.

Покупай им плюш,

заплетай косички,
кlesh, плиссе, бантики, рукавички,
а когда расплачутся, истерички,
посылай в душ,

прячь ножи, веревки, лезвия, спички,
не замечай, говори о птичках,
из дневника вырывай странички,
причитай: «Чушь!»

В 200 ватт —

не поучителен, заразителен свет,
от такого, как под гипнозом, и «да» и «нет»
произносишь автоматом — в ответ
на взгляд.

Но не влезут, паршивки, на табурет,
не прочтут стишок, не споют куплет,
видят себя в тридцать с лишним лет:
саван до пят, именной браслет:
«Сильвия Плат».

ПОПУТЧИЦА

Эта девочка с видом эксперта говорит о смерти.
Девятнадцать лет от роду – знает всё.
Рядом с ней несвободно, как треске, угодившей в сети,
Или облаку, втиснутому в клочок полотна Басё.

Ногти под черным лаком и стрелки «под Нефертити»,
Шнурок, медальон, шинель с чужого плеча.
Любит сырое мясо и острый перец, как петухи Гаити.
Ни читателя, говорит, не нужно, ни советчика, ни врача.

Говорит, что пишет вот так, на ходу, в электричке,
Но ритм – почти песенный, ни стука, ни сбоя в пути.
Говорит, что смерть /или жизнь/ – дело привычки:
Если подсядешь – намертво, вовек потом не сойти.

На нее сердобольные дамы смотрят не сердобольно,
Стороной обходят дети из хороших семей.
Она невозмутима, но краем глаза вижу, довольна,
Закладка в книжке об индийском укротителе змей.

Она обожает смертоносную, неживую экзотику –
От петушиных боев до тяжелого рока и карт Таро,
Фото африканских рахитов – мухи по лицу, по животику –
Без малого Кафка /или Сорокин/. Впрочем, ей всё – равно.

Обожает, громко сказано, холодным своим обожанием.
Но кто-то, должно быть, целует и этот в синей помаде рот,
И белую грудь, под которой двигатель внутреннего сгорания
Обращает тепло в механику — без сбоя — двадцатый год.

Кто-то спешно расстегивает гляцевитые пуговицы,
На кодовом языке любви /или смерти/ что-то шепча,
И когда готика во плоти, опускает стрелки, целуется,
Из-под шинели вылетают голуби, словно у мага из-под плаща.

Я молчу, я слушаю. Ей без меня хорошо известно
/Над ноутбуком колдует татуированная рука/,
Что червь хочет жить, стервятник — птица, а смерть интересна,
Доколе конечная, будто Африка, далека.



И.К.

Пионерский лагерь, линейка, тоска по маме,
Волейбольный мяч повис в безразмерной сетке,
Небо раскачивают краснокрылые оригами,
Ты стоишь неподвижно, словно бегун на метке.
В плоской груди сердце твое – твое ли? –
Рвется под униформой, стучит под грузом,
Черти его зажгли в беспробудном поле,
Там, где шуршит ладонями кукуруза.

Собери в мешок бесполезное, пригодится:
Сон-не сон, любовь-нелюбовь и другие игры.
Рукомойник в лесу заржавелую льет водицу –
Кто ее пьет ночами, какие тигры?
Серебрятся ветви, как сабли Хачатуряна,
Белый танец опять танцуется в одиночку –
До упада, но в полночь вырубит сторож пьяный
Беспокойный источник жизни – радиоточку.

Зазубри урок: не вписываться в картину,
Проходить бесследно – «Лермонтовым по Кавказу»,
Детский бог со значка в грудь уколел и сгинул,
Не касаясь сердца, почти не мешая глазу.
А глаза ловили в окне меловые хаты,
Невысокий тын, в два ряда вековые ели,

И ползли вперед муравьиной орды отряды
По крахмальным склонам бессонной твоей постели.

Ты уедешь в город, но здесь остается поле,
Золотые камни в тяжелых его початках,
Выливая солнце, зеркало в коридоре
Слепо уставится на георгины в кадках.
Молоко поутру перебьется степной полынью,
Заскрипят ворота железными рукавами —
Сельский автобус скользит и мешает с пылью
Будущий снег над нашими головами.



Поначалу он всё вспоминал старшего брата,
Погибшего в первые дни последней войны,
Того, на чей застекленный портрет виновато
Смотрел, проходя вдоль коридорной стены.

Но вспоминал бессвязно, отрывками, скупобегло:
Двор-колодец в лужах, голубями меченое окно,
Одноногий сапожник, тополиный пух, июльское пекло,
Газетный кораблик, упорно идущий на дно.

Вавилон старьевщиков, точильщиков, попрошаек,
Молочница, связкой бидонов звякающая о пышный бок,
Волны мальчишек меж островами девчачьих стаек,
Из окна соседки — то ли Бах, то ли сам Господь Бог.

Нет, поначалу он поднимался среди полновесной ночи,
Доставал из шкафа ненадеванный, с чужого плеча, пиджак,
Оставлял записку жене, где между роящихся многоточий
Прочитывалось: «Ушел на войну... Прости, если что не так...»

И каждый раз доходил бы до самого Берлина,
Как однажды дошел в свои двадцать неполных годков,
Но его возвращали в будущее, вышибая клин клином,
Жена всхлипывала, телефон захлебывался от звонков.

Он доставал из чердачной пыли коробку помятых писем,
Внимательно перечитывал, прятал, потом долго не мог найти.
Бормотал, что всё еще жив и молод, еще независим,
Что, чем дальше идешь, тем ближе к началу петляющего пути.

Как нашкодивший мальчик, сидя на облупленном табурете,
Он спрашивал у жены: «А где мама? Ведь только что
здесь была».

«Миша, — отвечала та, — ее уже столько лет нет на свете...»
Неправда, она отлучилась, у нее дела, говорил, у нее дела...

Он смотрит туда, где жизнь — ключом: не умиравшие братья,
Хлябь колодца, молочный колокол, матери смеющееся лицо.
Жизнь, говорит, — как поцелуй любимой, родное объятие, —
Благословенны руки ее, замыкающие кольцо.

ИМЕНА

Дорогая Ирма, у нас бесконечный снег,
Завывает вьюга и гаснет огонь в камине,
Я тебя целую, любимый мой человек,
Береги себя, заботься о нашем сыне.

Я клянусь, что скоро, скорее, чем по весне,
Возвращусь домой из постылого дыма-смирада,
На войне, конечно, страшнее, чем на войне,
Потерпи немного, моя дорогая Марта.

Увезу тебя в наши свадебные края,
Где начнем сначала, всё набело перепишем.
Понимаешь, Хельга, иначе теперь нельзя,
Даже едкий дым уходит всё выше, выше.

Даже самый стойкий увязнет в таком снегу,
Но не снег, а пепел взметается по колено.
Береги себя – так, как я тебя берегу,
Дорогая Магда, прекрасная Магдалена.

И уже не важно, где запад, а где восток,
Где, устав кружить, журавлиная сядет стая,
Не дрожи, Марлен, эдельвейсовый стебелек,
Из моей груди ежеутренне прорастая.

Ведь у нас, Ульрике, вся жизнь еще впереди,
Золотая жизнь — безоблачна, хлебосольна.
И простое чувство теснится в моей груди:
У врага нет сердца, ему не бывает больно.

Это труд, ты слышишь, обычный тяжелый труд,
Я сменил на плетку отцовский пастуший посох,
Чтобы гнать овец на Божий последний суд,
И щекочет ноздри заочневший воздух.

Всё свершится вовремя, милая, потерпи!
Рождество. Звезда. За холмами уже светает.
Этот люд в загоне — опасней волков в степи,
Но щедра зима и в снега его замечает.

.....
Под холмами проволока вибрирует, как струна,
Над бараком ветер последнюю гонит жалость.
От чужих детей остаются лишь имена,
А от тех, кто любил их — и волоса не осталось.

«NIGHT WILL FALL»

Женщина, я не хочу быть женщиной,
Кому-то необходимой, обещанной,
Нежной, будто комнатное растение...
Говорят, что после освобождения
Они снова хотели нравиться,
Превращение — из полуживой в красавицу:
Платье, туфли, губы, глаза, волосы,
Пленка рвется: кресты-кресты-полосы.
Эти кадры монтировал сам Хичкок,
Солнце, попавшее на крючок, —
Цвет закатный, как чай в стакане.
Берген-Бельзен — глоток — Майданек —
Слова опрятные, словно улицы
Пригорода: парочка на скамье целуется,
На молочном фасаде — ни трещины,
И снова — женщины, женщины, женщины.
Напомажены и ухожены,
В очереди за мороженым,
Кукольные — загляденье,
Пьют кофе, едят печенье,
Курицу с черносливом, петуха в вине,
Но что они понимают в вине?
Война под вино как вина на войне —
Уберите, спрячьте, это не мне, не мне!

Эти рецепты из бухенвальдской книжки:
Рождественское полено, суфле, коврижки –
Вот здесь подчеркнуто, там помечено..
Я не женщина, Господи, всё-таки я не женщина.



Бывает, умрешь, а тебя попросят, давай еще,
Ну, что тебе стоит, попробуй еще разок.
Спинка стула давно заменяет твое плечо,
Из конца коридора смотрит дверной глазок.

В тоннеле темно, как на задворках моих европ,
Цементная лестница отчаянно катится в ад,
А там – то ли Харон, лоснящийся как эффиоп,
То ли лампочка Эдисона – в сто бесполезных ватт.

На стене чернеет граффити, как грифель в карандаше.
Лифт громыкает зеркальным нутром, скользя
Из подвальных недр, словно скрежещущий атташе
От тебя ко мне – дальше ему нельзя.

Я по-прежнему школьница, тщетно ищущи ответ,
Из каждой ошибки пытаюсь извлечь урок,
Продолжаю жить – тем, что тебя больше нет,
Аристотель прав, и в смерти бывает прок.

Буду-не буду, третьим проснусь лицом:
Всё ли едино ей? Так ли ей всё равно?
Жизнь, как известно, сказка с плохим концом.
«В общем, все умерли», – пошутят потом в кино.

Хорошо, я попробую, только скажите где,
Принесите что под рукой – фотовспышку, перо, иглу.
Может, на этом, в чернильной вязи пустом столе,
Или вон в том, глубоком как сон, углу?

И Харон повезет, и лампада будет гореть,
Кто-то встретит меня, шутя: «И ты тоже, Брут?»
Без тебя, казалось, нельзя, но я силюсь петь –
Даже без музыки, даже если слова умрут.

Грузная женщина шваброй гремит подъем,
Мое ступени – сколько бессчетных лет?
Лампочку вкрутит, чтоб лился в дверной проем
Вялый и тусклый потусторонний свет.



Вот оно — подкрадывается, как склизкий ползучий гад,
Наказание, подлый наряд вне очереди.
У кого-то выльется в двадцать сонетов к Марии Стюарт,
У кого-то ровно в столько же — к дочери.

Я по этим сонетам теперь изучаю мир,
Чье-то славное детство и бесславную чью-то историю.
В базарной кошелке обнялись багет и кефир —
Разве стоит об этом? А если точнее, стою ли?

Как известно, ценнее всего — не о чем, а как
И, собственно, кто касается вечных форм и тематики.
У меня — дожди, дорожная пыль и сосед-дурак,
Безымянное дерево сбрасывает пожухлые фантики.

В газетах и книгах пишут о жизни и смерти. А я?
Картинки с природы, о том, что — всегда и рядом:
Чужие сонеты, чужая деревня, своя семья —
Островок, окруженный дорогой, домами и детским садом.

У меня всего слишком много — жизнь и еще, еще,
А потеря всего одна, по большому счету.
Я нашла сильную спину, хотя искала руку, плечо,
Прибыла по назначению и теперь выполняю квоту.

Я не вижу картину в целом. Вид из окна
Ограничен, подробен, сколько глаза ни три.
От соседа, забрав дочерей, прошлым летом ушла жена,
Он не верит, смеется, пускает мыльные пузыри.

Деревушка, в которой живем мы, почти живем,
Голуба как небо, как плющ в саду зелена,
И как плющ, с годами съедает тебя живьем,
Чтобы слиться с телом, оставленным у окна.

Мы с соседом спускаемся в сад и едим багет,
Он подбрасывает фантики — я как бабочек их ловлю.
Хоть на самом деле нас в деревне уже больше года нет:
Отбыли по назначению. И пребываем — каждый в своем раю.



Потому что пройдет и это, всё утечет,
И ко времени Время пришлет своего гонца,
Разменяет наш чет и нечет на чет и чет,
До последней развилки, до самого до конца.

А потом разойдемся, и каждый своим путем
Поплывет всё дальше, петляя, за ту черту,
За которой впотьмах светящийся окоем
Безудержно тает, как леденец во рту.

И каких цветов будет этот закрайний край?
И какая музыка слышится в том раю?
И какой язык? Раз, вослед прошептал «прощай»,
Я совсем не то и не так тебе говорю...

Не пропасть бы там, под откос не свернуть с пути,
Под сиренный хохот в беспамятстве не уснуть,
И не спутать снадобья, спрятанные в горсти:
люби — забудь.



Говорят, что им ничего не нужно — не потому,
Что у них всё есть, а потому, что любая нужда
Отстегивается, как лишний вес, и идет ко дну,
На ходу обращая «нет» в необратимость «да»,
А потом затихает, как галька на дне пруда.

Говорят, они ничего не помнят: ни наших лиц,
Ни кровных связей, ни важных дат, ни любимых мест.
Мы — не больше, чем фотографии с голубых страниц
Семейных альбомов, а у них пустота окрест —
Ни лица, ни руки — в неисчислимость верст.

Говорят, они ничего не слышат, и, очевидно, зря
О чем-то их просим, чего-то от них хотим.
Сине небо над ними или сыра земля —
Непроходимость звука — это залог покоя: им
Просто неинтересно, о чем мы тут говорим.

Говорят, они больше молчат, и все разговоры там
Бесмысленны, как споры о вкусе Cointreau,
Им любые посулы — пустопорожний гам...
Потому на вопрос «как быть?» получаешь совсем не то:
«Улыбнись, выпрями спину и застегни пальто».



Когда из окна — влажный ветер — отколе? —
этим краям и река не снилась, не то что море,
но вот — брызги, бриз и такая безбрежность...
Это и есть нежность.

Когда на лицо кладу свою руку — спишь? —
и ты, незрячая, словно римлянка, зришь
жизнь: пальцы, ладонь, запястье...
Это и есть счастье.

Когда невидимый, но ощутимый как воздух,
затворяет окно: «ничего нельзя сделать, поздно»,
отключает ветер, море, тебя — моей рукой...
Это и есть покой.



Вот и свершилось: тебя не стало,
скорбящие опустили забрало,
стены из стеганого одеяла,
 лежишь красиво, нарядно, пышно,
 вычерпана и неподвижна,
 так театрально-книжно.

Гадают: что там теперь, под железкой?
тьма, как за ситцевой занавеской,
была чьей-то дочерью и невесткой,
 обворожительной — неинтересной,
 широкой природы — природы тесной,
 живой водой и водицей пресной.

Сама себе памятник на военном марше,
ни белозубой улыбки, ни фальши,
выемки-бугорки, а дальше —
 успокоительный хруст крахмала,
 свежо белье по чужим лекалам,
 не привыкать к латам, щитам, забралам.

Сначала захлеб в шопеновском водовороте,
потом «Beach Boys», чтоб — на высокой ноте,
венки от родни, вино от крови и хлеб от плоти,

шаблонную sms отстукивает Всевышний,
накаляются лампочки — наливные вишни,
лишь палец шевелится словно пришитый, лишний.

Ну что тебе нужно? что ты еще не сказала?
звездной громадой — расшитое покрывало,
уже не твое, ничье, слава Богу, тело,
а ты скоблишь ноготком пустотелым,
будто скребешь по известке мелом,
по белому — неразборчиво — белым.

Взять и подняться, перепугать всех насмерть,
макияж румянца стереть, как наледь,
чего боитесь? смерти? она ведь
хозяйка бала — поднаторела,
в четвертом ряду — то справа, то слева,
это ее искусство — святое дело.

Она зажгла эти люстры и свечи,
беспольные продиктовала речи,
на вседоступном, по-человечьи
увлажнила щеки, носовые платочки,
подошла по-улановски на носочках
вплотную, выдохнула: это еще цветочки.

Скоро все разойдутся, скоро,
на время улягутся распри, ссоры,
без перемирия не откроется дверь литая.

Хозяйка, шамкая: что мешкаешь, как неживая?
и к ней всецело, словно к матери, прикипая,
произнесешь: спасибо моя дорогая...



Здесь всё по-прежнему: труба в дыму и саже,
Конь под уздой, да и сама узда,
Дома, шкафы со сложенной поклажей,
Забытой без особого труда.

Протоптана старательно и узко
Дорожка, по которой всё текло.
В шкафу твоя сиреневая блузка
Впустую отдает свое тепло.

Здесь те же листья комнатных растений —
Не изумрудней и не тяжелей,
И остается радость превращений
Кому-то понаивней и смелей.

Внутри всё так же — ночью и при свете,
Снаружи то же: за скрещеньем рам
Снеговика долепливают дети,
Воздушные, как будто строят храм.

И устремляя в небо сухожилия,
Забывшись в зимнем ледяном бреду,
Твои деревья расправляют крылья
И самоубиваются в саду.



Сколько бы ты ни шел, семенишь назад,
Шлях под ногами бритвой подошв распорот,
Если пойдешь налево, случится сад,
А повернешь направо, увидишь город.

Райские птицы, колибри и какаду,
Свет от рябины, словно мосток, подвешен,
Будет садовник клумбы взрыхлять в саду,
Свежей известкой пачкать тела черешен.

Мавка в пруду наждачным сверкнет хвостом,
Козьи копытца вытопчут дикий клевер,
В городе безымянном построишь дом,
Мутные окна будут смотреть на север.

Где бы ни канул, в какой ни бродил толпе,
В сером пальто, подняв непослушный ворот,
Будешь сторонним — даже себе, себе!
Вечным приезжим, не покорившим город.

Слева теснятся ирисы под ребром,
Справа ворота поскрипывают литые —
Кто там стучит назойливым топором?
Кто воздвигает храм в животе, не ты ли?

Всяк подорожник — материя для заплат,
Всяк стебелек колет острее спицы.
Если пойдешь налево, случится ад,
Если направо — ад всё равно случится.



Зачем здесь хлеб и теплое вино,
Официант без тени и улыбки,
Курортный город, втиснутый в окно,
Невзрачное такое полотно
Без глянца туристической открытки?

Синтетика цветка, меню плашмя,
На скатерти заглаженные пятна,
Дверной проем, где школьники, шумя,
Одни и те же – вне числа и дня –
Пронесятся – зачем, и так понятно.

Зачем вдали расплавленный песок,
В котором чайки обжигают лапки?
Трехпалый след ведет наискосок
Туда, куда уходят без оглядки,
Порой, от худшего на волосок.

Зачем теперь пугливой птицы взмах,
Неосторожно взмывшей над волною,
Как будто сообщающей размах
Стихии (неба, моря) – белизною
И уменьшеньем в зрительных полях?

Зачем жестяных банок перезвон,
Всей пустотой поющих об уходе
В тон настроению, плохой погоде?
Жизнь истончается, за горизонт уходит...

И возвращается — со всех сторон.



Я повторю и зазубрю урок,
я сделаю засечки и закладки —
на желторотых чернобривцах в кадке,
которых не живописал Ван Гог;

на камышовых наволочках — пух,
по швам и в клочья разорвавший бархат,
течением уносится на запад,
обманывая зрение и слух;

на медленно дымящейся реке,
где окуней серебряные стаи
наращивают крылышки из стали,
чтобы взлететь и стоять вдалеке;

на голом воздухе, коснись его едва —
упруг и влажен, словно пляжный мячик,
и чуток, как надежный передатчик
всего того, что предали слова;

открою пестрокрылый Мартиник,
его вино, скисающее в венах,
всё — постепенно и попеременно —
от шепота до опыта из книг;

охотников бежав и егерей,
застыну вязом — вспомнят лесорубы,
как я листвою промакивала губы
и приникала к дудочке своей.

В НЕКОТОРОМ
ТРИДЕВЯТОМ ЦА...



Мы сложили крылья привычным «раз-два» заспинным,
Раскладными ножиками, на которых швейцарский крестик.
Тень земная делит луну на равные половины,
Впереди не орленок, но тоже, кажется, буревестник.

Мы живем, над собою не чуя большого неба,
Не от страха, не потому, что летать умеем,
Потому, что тот, который – везде, где бы он ни был,
Обернется то зрителем в цирке, то чародеем.

Мы с тобою тоже делим углы и ниши,
Даже если осень из дальних лесов подула.
Отбиваю лапкой, как в барабан, по крыше:
«Ты ли это? Да ты ли это?» – не раскрывая клюва.

Мы да мы... Как нам нравятся джаз и кофе,
Восковая луна, как лиловый кусочек мыла.
Где-то там, в Амстердаме, Флоренции, Дюссельдорфе
Половина меня – половина тебя – бескрыла.

Оказалось, всё глаже, тише: гнездо у рощи,
Желтоглазый злак по полям – километры, мили...
Оказалось, мертвым летать несравненно проще,
Отражаясь друг в друге, не вопрошая: «Ты ли?»

С высоты наша роща, как перья в подушке — колка,
С высоты — пустоты — не объять ни крылом, ни оком.
На сосне наш ларец, где яйцо, а в яйце иголка,
Лишь бы ветер не дул, не смахнул его ненароком.

Лишь слепой не увидит, как мягко поземка стелет,
Как привычный пейзаж становится чище, строже,
Там, где тот, что везде, нас снова с тобой разделит —
У него всегда при себе перочинный ножик.



я когда-нибудь оторвусь от книг,
зашвырнув последнюю под кровать,
и уеду в неправильный геукјавік
ледяные кубики собирать.

ворожить на соленой морской крупе,
извлекать из нёба раскаты «р»,
на водопроводной играть трубе,
подземельной лирики пионер.

буду в ступе травы всю ночь толочь,
буду к травам подмешивать злу золу,
буду снежной и нежной твоей, точь-в-точь
та, что стынет зря в дворовом углу.

расплетутся гривы лихих коней
под крахмальным хлопком чужих знамен,
а твоя морская? — забудь о ней!
я забыла сотни своих имен.

ты давно такую себе просил —
чтоб стояла крепко, не на краю,
приезжай ко мне! из последних сил
предпоследний шорох в себе давяю.

посмотри в ладонь, как глядят в окно,
там ползет по изгороди лоза —
ах, какое в исландии пьют вино!
золотистое, словно мои глаза.

обернусь княжной ледяных кровей,
прорастет побег из моей спины,
но чем ближе лягу — тем холодней,
и не будет в этом ничьей вины.

Потому что «есть» не оставляет просвета «буду»,
Потому что осень в этих краях так нескончаемо длится.

Эти раны совсем не смертельны, я их забинтую сама,
Снова сделаю так, чтобы ни складки, ни шва: шито-крыто...
Но ни за что не отдам ни твоего невода, ни своего корыта,
Ни этой обычной жизни — когда притечет зима.



Когда стою у плиты и жарю картошку
Когда с клеенчатой сумкой в магазин иду,
Когда в сердцах или по-доброму — понарошку —
Ворчу на погоду — я вся у него на виду.
Когда убираю, глажу — занимаюсь делом,
Вытираю носы, припадаю к вспотевшим лбам,
Я как на ладони у неприступного Гулливера,
Который пронирыливым лилипутам не по зубам.

С его высоты почти не видны, не важны детали:
Вмятины детских пальцев в мякише булки,
Часы в прихожей, нервно оттикав, к полуночи стали,
Запропастился ключ от музыкальной шкатулки..
А он — такой сильный, как полагается великану,
Стена, за которой — очаг (подбрасываю дрова), семья,
И мне, вчерашней, почти забытой, почти без изъяна,
За ней нет места, то есть я — это уже не я.

От той, небывшей, вымышленной, ничего не осталось:
Стопка помятых снимков, гляцевые картинки,
Резкие вспышки памяти — ничтожная малость,
Непроявленный негатив женщины-невидимки.
Она иногда приходит под утро, впотьмах, спросонок,
Пока Гулливер — в полный рост — не проснулся весь,
Кладет ему руку на левую грудь, и он, как ребенок,
Тихо шепчет — той, под веками: «Больно здесь».

ТАНГО

Подуй на воду — и пойдут круги,
Речная гладь в заезженных пластинках:
Мужчины, рассчитавшие шаги,
И женщины с цветами на затылках.
Еще не ночь, не ночь, а только тишь,
Еще на дне не всколыхнулась вьюга,
И ты за дверью каменной стоишь,
В потемках озираясь близоруко.

Ну, вот я, вот! Стоим лицом к лицу,
Тяжелая легка перегородка,
Тень птичья проплывает по торцу,
Как в небе опрокинутая лодка.
Так жизнь без нас — проходит налегке,
Где мы с тобой, забытые, остыли,
Что письма на бездушном чердаке,
Что вещи в опечатанной квартире.

Там тоже жизнь — в закрытой полутьме:
Невольное позвякивание чашек,
Сердцебиенье стрелок на стене,
Ничейное, а значит, только наше
Воспоминание о том, когда и как
Две гибких тени в аргентинском танго

Покачивались симметрично в такт,
Как паукообразная фаланга.

Мы пялимся в запятанный глазок,
В непустоту, глядящую обратно,
Два перевертыша: мой запад — твой восток,
А юг и север — солнечные пятна.
Но кто-то там, на самом верхнем дне,
Спыхватываясь, будоражит воду,
И ты идешь — вне музыки — ко мне,
Трагичную опережая коду.



Всё это уже бывало, на что-то похоже, —
Пытаюсь нащупать, напрягаю глаза и память.
В воздухе изморось, мурашки по твоей коже,
Шуршание птиц, сложенных моими руками.
Их бумажные крылья плывут над покато́й крышей,
Как наши мысли, уводящие к желанному югу.
Глина не успевает застыть, становясь всё жиже,
Фарфоровый слон из окна всматривается в округу.

Мы идем так долго — без назначенной свыше цели,
Свыкшись с тем, что смысл — в самом движении.
Не считай шаги — наши птицы, сыты и целы,
Поворачивают в предначертанном направлении.
Эта церковка на глухих деревенских задворках,
Этот забор, скукожившийся от приближения ветра,
Этот лес на пригорке в скрипучих ставнях и створках —
Склеены из картона, сшиты из потертого фетра.

Ты достаешь наши богатства из чердачной пыли,
Где мы их покупали — на базарах каких сицилий и греций?
Пролежав в духоте целую вечность, они остыли,
Ибо «враг любви есть любовь», — говорил Проперций.
Ты и сам похож на сказочного, прирученного волка, —
Лунный лед одиночества клеочет в твоей гортани.
Мы с тобой идем так бесконечно долго,
Что уже не помним о неизбежном втором дыхании.

Всё это на что-то похоже, случилось с кем-то и где-то, —
Обновленные декорации к назубок заученной пьесе.
Мы идем и видим, как за черту земного макета
Уплывает солнце — без мысли о собственном перевесе.
Бок о бок, плечо к плечу, не навстречу друг другу,
А к поездам вдали, ускользящим на перегоне.
Не сбавляя шага, на ходу ищу твою руку
И пытаюсь вспомнить емкость твоей ладони.

СЕМЬ ГРАММОВ

Ты однажды привел меня в парк с заброшенной виллой,
Парк у вас — это заросли с покосившимся домом по центру,
Заброшенный сад, столько листьев, что даже осеннему ветру
Не остается ни щелки, сплошные щепки, как у М.Ц.: «Сивилла:

Выжжена, сивилла: ствол. / Все птицы вымерли, но Бог вошел». У тебя за плечом гитара, зонтики пиний, замшевый склон,
Ты потом споешь среди веток, фамильных плит и серых ворон.
Там, под красной крышей, наверно, такой же шуршащий пол,

Как этот настил из листьев — из писем без адресата:
Конверты в прожилках, бурые марки, размытый почерк,
Шелестят и горят, свертываются от стыда... Между прочим,
Я их писала тебе, давным-давно, из другой жизни. Когда-то

Мне казалось, мы с тобой вышли из Габриэле Д'Аннунцио,
Из самого безысходного в тот период романа:
Похвала одиночеству, филиппика черному кругу, осанна
Смерти... Двадцать один грамм — чуть меньше одной унции,

Меньше веса твоей души. И я пыталась расти, глотая
Настоящую гарь, фальшивые ноты, сентиментальный текст,
Золото, пепел, глину, безветренность этих мест,
Где живешь, будто в аду, из которого ближе всего до рая.

Я скоро уеду, уже выбран день и даже куплен билет,
И когда ты поёшь, я четко вижу твоё будущее без меня,
Где всего и всех в меру — жен, детей, листьев, воды, огня,
И лишь ничтожных семи с лишним граммов нет.

Но без них вполне можно жить — ты скоро и сам увидишь! —
В них уместилось всё лишнее, не пригодившееся для счастья,
Копилка моих безделок: шрам на твоей руке, родинка
на запястье,
А глубже — лишь звук: птичий клекот, детская песня
и дедов идиш...

Но пока не сопрев настил под ногами, пока всё хорошо,
Пока дом на века вколочен, и ты поёшь меня — мне,
Представляю, к тебе прирастая, как лоза к вековой стене,
Что земля не сгорела, не вымерли птицы — и Бог вошел.

СКАЗКА

И было у царя две жены,
И обе были ему нужны.

Одна ждала его после охоты или войны,
По утрам, когда глаза от недосыпа еще красны,
Улыбалась, шептала о скором приходе весны,
А ночами смотрела его невеселые сны.

Он был импозантен, молод, по-царски силен, красив,
Неразговорчив и несговорчив, непредсказуем и горделив,
Как все они, люди престола, то беспощаден, то справедлив,
Но с нею, с нею был ровен, — был бы повод, был бы ревнив.

Она поднималась засветло — та царица еще была! —
Пряла пряжу, месила тесто, гобелены ткала,
Не прихорашивалась у зеркал, — знала, врут зеркала,
И не видела дальше царя и пределов его двора.

Они почти никогда не оставались вдвоем:
Царство то затопляли реки, то засуха жгла огнем,
Приемы, пиры, советники, свет свечи в проем...
Жили вместе и порознь — час за часом, и день за днем.

Но было у царя две жены,
И обе были ему нужны.

И всё б ничего с одною женой, но у царя было две.
Мысль о второй вспыхивала, как блик свечи на его челе, —
Ветреной, неуловимой амазонке в лихом седле,
Легкомысленной и свободной, без царя в голове.

Она просыпалась поздно и поднималась не с той ноги,
Волосы были гладки, слова безвесы, шаги легки,
Ненавидела стены, не прельщалась зерном с руки,
А что царь называл «своей ласточкой»,
врут придворные языки.

И было у царя две жены,
И обе были ему нужны.

Но когда приходила осень и ливень хлестал в окно,
Первая погружалась в работу, вращала веретено,
А вторая ломала крылья, клювом рвала сукно,
Ибо там, под царской рубашкой, было ей, как в аду, темно.

И первая задвигала засов, долго терла след от кольца,
Мыла руки, обмывала раны, вытирала слезы с лица.
И жили они, как в сказке без морали и без конца:
В некотором государстве, в некотором тридевятом ца...

И было кому утешить, и было кого любить:
Одна помогала выжить, другая заставляла жить.

ПОЧТИ ПАСТОРАЛЬ

Одиноко тут,
 где коров пасут,
 караул несут.

Бесконечный день,
 всё покрое тень,
 облака снесут.

В облаках зазор,
 то дневной дозор
 Божий из окна.

Травяной забор
 да коровий взор —
 что печаль сама.

Всё покрое тень
 мхом — и ствол, и пень,
Вон и дом покрыт
 пылью со двора
 *(на дворе дрова,
 на дровах трава),*
 что ни дом — гора
 пушкинских корыт.

Ветерок в трубе
 плачет по себе
 и трубит отбой.

Старец на печи

теребит ключи:

«Тише. Бог с тобой».



ИРИНЕ МАШИНСКОЙ

1

Живу ли, не чувствуя дна, плыву,
Хватаясь за борт ладьи,
Как засыпающий — наяву
Находится в забытии,
 (На этом газетном, меж строк, борту,
 Меж точек, цезур, цитат),
 Так угольки у меня во рту —
 «Любовь» выжигают так.

У этой плывущей — чужая статья,
Не мед на губах, а клей.
Я столько могла б тебе рассказать,
Была бы чуть-чуть смелей.
 Плыву на тебя — от себя к тебе,
 И вот меня будто нет,
 Но всё, что ты значил в моей судьбе,
 Уже описал поэт.

На гребне, клубящемся без огня,
Всего, что несу — не счесть,
И в лодке как будто бы нет меня,
Но вот я как будто есть.

Эпоха мается в поясах —
Где плавно, а где рывком,
И время, остывшее на часах,
Уходит — дымком, дымком...

2

Медленно открывается дверь,
Как полночный выветривается хмель
За сердечными разговорами.
Резко — взмах — оставляешь меня,
Подгоняет ночь своего коня
Звездными шпорами.

В двор-колодец открываю окно,
Вижу, как дно его ледяно,
Глубоко, безветренно.
И меня окатывает покой,
Словно горлицу под твоей рукой,
Однокрылую — медленно.

Сомкнут ее обожженный клюв,
На Мурано мечтательный стеклодув
Вдыхал в нее бессловесное.

Это птичья неслыханная простота
От верхушки той до того куста
Лепит счастье отвесное.

А на скалах ли, на сухих ветвях —
Щебетание, надземное «ах»,
В выемках и расщелинах —
Крошки хлебные и мучной порошок,
Да и нам с тобой, потерпи дружок,
Вдоволь счастья отмерено.

Это я без слов тебе говорю,
Потому что сплю и тебя люблю:
Внутри — громкая.
А вовне, на колодезном тихом дне
Поспешает ночь на лихом коне,
Крылья комкая.



Здесь, на безветрии, выдох — что ветер,
Выбьется прядь.
Будет одна в обесцвеченном свете
Ждать.

Звук округляется, катится, тонет
В тине болот.
Как в черно-белом Антониони,
Улица ждет.

Сосны закручены в жест не-свидания,
В черный бемоль —
Знак понижения. Здесь в ожидании
Вся соль.

В мокром тумане сваявшейся ватой —
Белый платок,
Скомканный, будто он всех виноватей,
Счастья флажок.

Станет отстукивать ставень о раму,
Мол, впереди
Сыплются листья, как телеграммы:
Жди.

Только бы стало сплошного дыхания —
Волны о твердь.
Только б не-встреча, не-расставание,
Не-смерть.



А потом он сделает больно, но это потом,
А пока — дыхание ловит горячим ртом,
Прячет вдох-воронку, бросает выдох-кольцо,
И к ее лицу приближает свое лицо.

Он сначала выводит узор на ее спине —
Изощренный, тоньше инея на окне.
Набегают волна — тепла, солона, легка,
Словно море плещет, но это — его рука.

Словно нет защиты от гибельной глубины,
Раскаленной галькой вдали берега полны.
И в горячей гонке срываются тормоза:
Бедра-лопатки-плечи-глаза в глаза.

Попытайся поспорить с морем, попркословь,
Бесполезно: стихия — «я» и любовь, любовь.
У нее кораблик качается под ребром —
Перевернется, но это потом, потом.

ДАЛИЛА

Нам коварное выпало время —
Беспощадной последней любви.
Спи, Самсон, у меня на коленях,
Как дитя неразумное спи.

Мы с тобой заигрались на свете,
Никого ни о чем не спросив,
Я сплелу тебе крепкие сети
Из семи неразрывных тетив.

Злые воины дышат за дверью,
Загоняя в проем темноту,
Я веревочное ожерелье
Округ шеи твоей заплелу.

Прожужжат над тобой медоносы
Стройным роем наискосок —
Это я твои длинные косы
В подвенечный вплетаю платок.

Это я опоила дурманом,
И с тебя не сводила очей,
Чтобы вскорости филистимлянам
Отворить, и впустить палачей.

Я светильник тебе к изголовью
Поднесла — и не дрогнула бровь,
Между родиной и любовью
Выбираю такую любовь,

О которой не ведают силы
За броней ненадежных дверей:
Как любила тебя — хоронила,
Больше жизни любила твоей.



Я смотрю в окно, муравей ползет по нулю –
Вдоль зеленой кадки, напрасны его рывки,
Выдыхает на муравьином своем – «люблю»,
От насекомой захлебываясь тоски.

Я смотрю в окно, в летнюю хмарь и рвань,
Белые руки солнечный крошат лед,
Скоро хозяйка наспех польет герань,
Затхлой водицей черный овал зальет.

Я смотрю, как деревья сжимаются за окном,
В клетке порхают встревоженные чижи –
То архитектор, подрядчик и агроном
Шумно сверяют нелепые чертежи.

Огражденный мир в целлофановом жив кульке,
Потряси немного – и будет тебе изгиб
Низкорослых яблонь, молчащих на языке
Голубых камней и гладкоперых рыб.

У пруда лягушки декламируют рубаи,
Из окна напротив доносится детский смех,
Из-под земли вырастают новые муравьи
И ползут по кадке упрямо наверх, наверх.

Только ты не видишь, и я повторяю — «ты»,
Словно тычу пальцем в тяжелый дверной проем,
Осторожных жестов недостроенные мосты
Обрушаются в наш трехкомнатный водоем.

А в насадном зеркале — разорванные нули,
В них ныряют птицы и камнем идут на дно,
И соседский мальчик задыхается от любви,
Наблюдая нас в незашторенное окно.

COMMEDIA DELL'ARTE

Это уличный шумный театр
Развернул цирковые шатры,
А под ними проходит экватор
И отсчет неземной широты.

Пульчинелла – расстегнутый ворот,
Тяжело от дождя пальтецо, –
Это твой доморощенный город
Фонарем освещает лицо.

Присмотрись, самый верхний прожектор
Авансцену берет на прицел,
И его указующий вектор
Выявляет, что жив ты и цел,

Что от занавеса до рампы –
Ровно десять красивых шагов,
Но суфлер в забытьи, да и сам ты
К этой пьесе пока не готов.

Взгляду не за что зацепиться:
Маски зала и город без лиц –
Это время сплошных репетиций,
Бесконечных дождливых реприз.

Между лавок, сколоченных наспех,
Изворотливый ветер – что вор.
Выходи на потеху и на смех,
Раз в театре таков уговор,

Улыбайся, бесславный Петрушка,
Набирай этот горестный стаж!
Пусть целует любимое ушко
Разноцветный второй персонаж.

 Не слезой же замешивать краску
 Под шумок закулисной возни —
 Скоморошьёю напяливай маску,
 В бубен бей, в колокольчик звони!

Как же песня твоя неумела...
Зал смешит безыскусный чудак,
Выраженьё изгваздавший мелом,
Несуразный надевший колпак.

 Значит, так же в цене сантименты,
 Ярко красный смеющийся рот,
 Но, срывающий аплодисменты,
 Твой простуженный голос не врет

Ведь, целуя впотьмах Арлекина
(Наговорам и сплетням не верь!),
Любит, любит тебя Коломбина,
Мой наивнейший Полишинель.



Кикимора, шишимора, яга,
Прядет за печкой шелковую пряжу,
Втыкает спицы в хилые бока,
По волосам размазывает сажу,
 Отбрасывает тень на полотно,
 В болотном торфе ночь проколобродив,
 Как будто черно-белое кино
 Показывают на стене напротив.

Гренландские болота не страшны,
Здесь родина *Pinguicula Vulgaris*,
Здесь рукописным шрифтом тишины
И не такие ужасы писались:
 Как постепенно замедляя шаг,
 Охотник обмирает — от щекотки
 Невесть откуда, от гудка в ушах,
 От северного камня в носоглотке.

И хоть молчи, хоть громко суесловь,
Как хочешь называй сию трясину,
Но по-гренландски, говорят, любовь —
*Asavakkit!** — выстреливает в спину.



* Я люблю тебя (*гренл.*)

Она ползет, как цепкий зверобой,
Лоснится кожей мертвого тюленя,
Победно поднимает над собой,
И резко опускает на колени.

Но эта злая женщина-сверчок
Лишь кажется сварливой и хлипкой,
И световой насыщенный пучок
Мелькает за щербатую улыбкой:

Ах, сколько в топи утекло воды
И сколько в водах растворилось соли,
Когда в Гренландии еще цвели сады
И голова кружилась от магнолий.



Наша зима больна и обречена,
Снег на исходе, слабеет последний донор,
На подоконнике поблескивает луна,
Гладкая, как голова у Шинейд О'Коннор.

Мы выключаем звук, говорим «люблю» –
Жестами, чтобы деревья сторожевые
Нас не подслушали, nothing compares to you,
Мертвые несравнимы, а мы – живые.

Кто нас уложит? Кто подоткнет края?
Ночь бесконечна, вечна – зачем нам столько?
Эта Геката, эта лекарка – я,
Эти стихи – снадобье и настойка.

Вот мое зелье – пей, засыпай, сновидь,
Хочешь, под одеяла зароем лица?
Хочешь, оглохнем? Голосовая нить
Чутких и зрячих выведет из темницы.

Шумные стаи, своры и косяки –
Кто там на выходе хваткие ставит сети?
Мы остаемся – теплее твоей руки
Нет ничего на этом холодном свете.

·ЭКСТРЕННЫЙ

ШУУДАН



Это море северно-тяжело,
Облака на нем — как в полях стога,
Его тело — небьющееся стекло,
Канифолью крашены берега.

Может, это оптический злой обман,
И реальность искажена в стекле,
Но я вижу, как медленный караван
По воде проходит, как по земле.

Я опять чужая, куда ни глянь,
И кого здесь за руку ни схвати,
Водяные демоны, синь и склянь,
Поднимаются на моем пути.

Я черчу чертят на сыром песке,
Кударинской степи означив даль,
И послушно замер в моей руке
Прирученный карликовый глухарь.

То ли чайки с моря взимают дань,
Собираясь стайками у буйка,
То ли птичий экстренный шуудан*
Мне приносит письма издалека.



* Почта (монгол.)

Маслянистой пленкой ложится свет,
В нем густая плавится бирюза...
Мир — что фокусник, то он есть, то нет,
Хитро щурит семечками глаза.

Водит ветер вилами по воде,
Задыхаясь, волны глотают высь,
Словно девочка из Улан-Удэ
Здесь нечаянно пролила кумыс.

КИНЕМАТОГРАФ

ТАМ СВЕТОТЕНИ РЕЗКИЕ ПЛЕВКИ
В ЛИЦО, В ЛИЦО МНЕ...

МИХАЭЛЬ ШЕРБ

У заводи мелькает стрекоза
Над облаком другой летучей дряни,
И у нее печальные глаза
Веселого Марчелло Мастрояни.

Она едва касается травы,
Вкось по воде бежит ее автограф,
И крупный план драконьей головы
Уже запечатлел кинематограф.

Там отмели янтарные пески
Посверкивают украшеньем митры,
И зрители, как длинные стихи,
Читают вкривь плывущие субтитры.

Идет такое сладкое кино,
В пределах жанра, вдоль песчаных русел,
Что взгляду совершенно всё равно,
Где рваться, где затягиваться в узел.

Трехпалых лапок вычурный пасьянс
У насыпи раскладывают птицы,
А в глубине, пока идет сеанс,
Велюр и бархат скрадывают лица.

Из-за спины еще клубится свет,
Еще киношник не захлопнул дверцы,
Зажат в кулак надорванный билет
И крылышки подрагивают в сердце.



ИРИНЕ ИВАНЧЕНКО

Мешал цвета и звуки извлекал
С терпением матери, со строгостью отцовской.
Приток, прилив, и вот — девятый вал,
Который не напишет Айвазовский.
Услышишь выстрел или резкий свист,
И заскользишь, как гонщик на бобслее.
Так выдумал, что лучший романист
Не сочинил бы фабулы сложнее.

Не отводил удары, не берег,
Нас подводя то к пику, то к подножью,
И каждая из выпавших дорог
Неумолимо шла по бездорожью.
Так выписал и закрутил сюжет,
Был каждый образ выверен и точен,
Что нам казалось, будто смерти нет,
Эдем погас и Лимбо обесточен.

Летучих рыб в пруду — хоть пруд пруди,
Пустых, как дирижабли на простое.
Смотри, какая осень позади!
И мы — ее последние героини.
Мы осторожно, будто бы впервой,
Ворочаем стальными плавниками,

Не замечая неба под собой,
Не ощущая дна над головами.

Последний лист бросается с моста,
Ползет по швам под каменной аркой.
Но где красильщик этого холста,
Кто здесь теперь живописует жарко?
Кому не то чтоб было всё равно,
Но мир — изнанкой, выворотом? Косо
Бросает размельченное пшено,
Не слыша изумленного вопроса.

Сочувствие — что солнце по весне —
Куда б ни било, холосто да мимо.
Мы нелюбимы на любой земле,
Мы на любой земле неповторимы.
У нас не плачут, только не у нас!
Мы сможем, мы бесслезны, мы стальные.
А та роса, что катится из глаз —
Проставленные сверху запятыя.



ДАНИИЛУ ЧКОНΙΑ

Перепахивай Лету, спеши, колеси ее вброд,
Загребай под себя, как пловец, набираясь терпенья.
Это даже не время, а снова пятнадцатый год,
И какого столетья, уже не имеет значенья.

И какого еще тебе нужно стального рожна,
Если воздух в прорехах и небо пестрит от проколов,
Если даже вина не важна, если вкус у вина
Подозрительно терпок и цвет нездорово ментолов?

По течению Леты, а, может, всего лишь Оки,
Будешь пойман, убит, воскрешен, окончательно проклят,
Там, в дарованном небе чужие горят языки,
А по присказке — помнишь? — дарованным в зубы не смотрят.

И пока ты плывешь, нерадивый, пропащий, чужой,
Горьковатую воду ловя вороватой губою,
Посмотри, как бескрайне закат покрывается ржой,
Как безадресно птицы кружат над твоей головою.

На побережье любовь, пошатнувшись, сошла с колеи
И пошла под откос, покатилась под насыпь послушно,
И бросает слова, словно сети, на губы твои,
Но других не дано, и не будет других, и не нужно.



МИХАЭЛЮ ШЕРБУ

Я тоже из этих, не видящих дальше плеча
И грузной спины, только шепот идущего справа
Пророчит, что где-то на взгорье стоит каланча,
С которой виднее размах и масштабы пожара.
Но он, этот вестник, он тоже — сплошное ничто,
Он тоже идет, выполняя никчемную квоту,
Застегнутый наглухо, пряча под строгим пальто
Холодное тело и теплую желтую кофту.

Нас сизые голуби крестят, беззвучно пара
Над нами и вновь исчезая в дымящейся гуще,
Нам белыми крыльями машут вослед тополя,
Как будто собой осеняя бесцельно идущих.
Как мертвая птица, зажавшая в клюве конверт,
Уже не боится ни ветра, ни ломкого хруста,
Я знаю, нас гонят за 208-й километр,
Где место на взгорье по-прежнему свято и пусто.

Кто скачет за нами, какие летят басмачи?
Враги, чужаки, отлученные да иноверцы.
И ты, тот, что справа, настойчиво мне не стучи
В застывшее слева, большое, как яблоко, сердце.
Ведь мы не родня, а чужие, крути-не крути,
Как маятник Бродского — маемся влево и вправо,

Шепча, предавая друг друга на долгом пути –
За хлеб и любовь, за дурную и легкую славу.

Но знак водяной проступает на сморщенных лбах
И каждое слово подпорчено привкусом стали,
Мы – белые рыбы с крючками в шершавых губах,
Мы – тихие лирики в поиске светлой печали.
Когда добредем, выдыхая в мороз облака,
Как в связке, на леске, прошившей от бока до бока,
Шепчи свою ложь, будто мы – не улов рыбака,
А черные птицы, безумные птицы Хичкока.



ВАЛЕНТИНЕ СИНКЕВИЧ

Я тебя отдала бы волку, да не отдам,
Потому что и черт не съест, и Господь не выдаст,
Вдоль пустой дороги помятый ржавеет хлам —
С октября-ноября оставшееся на вынос.

Я скормила бы птицам, но поздно, ищи-свищи,
Обломилась ветки, хрустят под ногами гнезда,
Золотые обертки и лоскуты парчи —
Голубиный скарб случайным прохожим роздан.

Отпустила бы по ветру — тенью в саду летай,
Раздавай задаром намаянное богатство,
Только ты гладка и округла, шалтай-болтай,
Горяча, как солнце, преступна, как святотатство.

Отдала бы в рабство какому-нибудь оглы —
Под чужую дудку плясала бы, под гребенку,
Но опять не стану — хозяйка твоей горы,
Разбазарив камни, пустую несет плетенку.

Речь родная, уже не ливень и не прилив,
Но течет под склоны скупая твоя водица:
Оживает камень, как в летнем саду налив,
И прозрачный сидр в траву-мураву сочится.



ВАЛЬДЕМАРУ ВЕБЕРУ

Земля пожелтела — от стога до стога
Горит беспокойным огнем,
А мы в закромах у пшеничного бога
Бобовые песни поем.

Он любит, когда в сердцевине пожара
Ничем не приметная жизнь,
Пустая, но звонкая, как стеклотара
В кульке у бомжа, дребезжит.

И каждый — в осеннее пламя подкидыш —
Трубит в нерадивый рожок.
Нас косят и прячут (ты видишь? ты слышишь?)
В набитый соломой мешок.

А он сокрушается о дешевизне
Крупчатки и прочей муки,
Ломаются наши красивые жизни,
Податливей, чем колоски.

Зачем ты перечишь, надеясь с поличным
Поймать его, колешься в бок?
Какой-никакой, чечевично-пшеничный,
Но всё-таки, кажется, бог.

Ты только гневишь его, если некстати
Смеешься и плачешь над ним,
Ведь думает он, что — прекрасен и статен,
Хоть сумрачен и нелюдим.

Блестят сапоги, серебруются застёжки,
Часы в золоченой узде..
«Мы звезды, Марина?» — Мы хлебные крошки
В косматой его бороде.

ТОСКА ПО МЕКСИКЕ

Дождь как дождь — из песка и стекла,
Служит ветер стеклодувом полей,
Но соседка моя — весела —
Негасимых мексиканских кровей.

Ей смешна моя наивная скорбь —
Кукурузу или рожь в закрома?
Ей милее тамбуринова дробь,
Гладкобокая в корзине хурма.

Нам соцветия ронял эвкалипт —
Мы бросали их в мешок изо льна,
А за церковью, с кладбищенских плит
Шелестели на чужом имена.

Лоскутами янтарел крепдешин,
Уводя от нежелательных тем,
И, не видя под землей на аршин,
Забывали, почему и зачем

Заостренные соски пирамид
Прячет в небе золотой Экскарет,
Где латиницы объемный петит
Проступает из намокших газет.

Но ничейной морошкой с куста
(Ностальгия – фарисейство и блажь!)
К нам, как будто с тугого холста,
Пасторальная стекала гуашь.

Вместе листья собирали и жгли,
Было ночью без просвета светло,
Но срастались две тропинки вдали,
Смоляные, словно брови Кало.

ЛЮКСЕМБУРГ

Усердствуют звонарь и золотарь,
Созвездья пчел на крупе иноходца,
Ржавеют крыши, плавится янтарь —
Так хочет Бог Негаснущего Солнца.

Он, желторото оголив нутро,
Заглатывает купола и башни,
И катакомб неспешное метро,
И близлежащие часовенки и пашни.

Пестрит плевков не знающий Плацдарм,
А за углом — такие закоулки,
Где самки оперившимся птенцам
Приносят в клювах камни и окурки.

Фальшивой медью маленький трубоч
Звенит-трубит, толпу за горло держит,
Здесь всяк — хозяин жизни и богач,
А нищие, должно быть, из приезжих.

Я тоже в этом сомкнутом строю —
Плечом к плечу, держусь шеренги внешней,
И, кажется, еще тебя люблю,
Хоть выговорить не могу на здешнем.



Еще живу как в бесконечном сне,
Читая расписаний вереницу,
В тепле вокзальном, в дымовом тепле,
Клубы, как петли, нанизав на спицу.
Но та, которая беснуется во мне,
Всё не дает перевернуть страницу.

Уже податлива, уже мудра,
Уже в привычках нахожу отраду,
В повторах ежедневного труда...
Но та, внутри меня, толкает к саду:
Самец двукрылый с самого утра
Клекочет, словно требует награду.

«Всё-будет-хорошо» — давно сбылось,
Давно окрепло и окаменело,
Я больше не вбегаю на авось
В вагонное скрежещущее тело,
Но та кладет свой камешек под ось,
Чтоб не вращалось колесо, не пело.

Живу за пазухой, под дождевым плащом,
Себя равняя с каждым постояльцем,
Но если нарекаю колдовством
Льняной узор, натянутый на пальцы,

Та, что внутри меня, грозит перстом,
Точней, не знавшим маникюра пальцем.

Мы не похожи с ней, мы далеки,
Как разлученные при первом крике сестры,
Как берега одной большой реки,
На дне которой рыбаки и весла
Покоятся... И ты, во мне, не лги!
Мы – полюса, как Омдурман и Осло.

Я не гоню ее, боюсь спугнуть –
Она затворница, гордячка, недотрога,
И мой привычный, неприметный путь,
В котором солнца мало, ветра много, –
По ниточке, от края, вглубь и внутрь –
Совпал с ее невидимой дорогой.

ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА

Не любила поздних гостей, затяжных дождей,
Несвободу — на улицу выйти глотнуть дымку,
Хоронила себя в вещах, а в себе людей,
Эпитафии взглядом клеила к потолку.

Освещал фонарь покосившийся дом-причал,
Примерзали к мачтам нахохленные грачи,
Набирая в темпе, вздрагивал и бренчал
Дождевой бубенчик, как в сумке ее ключи.

А на дне двора порхало мокнущее белье,
Под порывом ветра топорщились рукава —
То ли флаги, то ли расхристанное воронье,
Два крыла драконьих — только где его голова?

Говорили в городе, будто в старые времена
Этих ведьм прилюдно жарили на кострах,
И рвались запястья, непрочные как блесна,
Вызывая детский восторг и недетский страх.

Наблюдали, как в складках платья росла волна,
По волне гуляли диковинные ладьи,
И в глухую полночь карликовая сосна
Простирала ветви из выреза на груди.

Ликовали черти, топчась в расписной в ладье,
Разбивая весла о липовые бока,
Обрубали корни в светящемся животе,
Поджигали сердце — маяк на краю мыска.

Но когда погружается город в мертвецкий сон,
Ледяных созвездий вспыхивает салют,
На сосну слетаются птицы со всех сторон,
И терновые гнезда вьют, и глаза клюют.



НАТАЛЬЕ РЕЗНИК

Если долго смотреть на статуэтку в чужом окне,
Она начинает двигаться, перемещаться,
По стеклянному воздуху медленно плыть ко мне,
Простирая руки вперед, удлиняя пальцы.

У нее в глазах рябит от моих заплат —
Простыней, платков, занавесок, неспящих окон,
И нестойкая тень покрывает нескучный сад,
От ствола до крыла завернутый в белый кокон.

Я уже различаю светлых глаз ее бирюзу,
В них посыл весны — грациозен и безупречен,
И такой минор, словно лед в бельевом тазу
Растекается под напором ползущих трещин.

И когда, казалось бы, руку лишь протяни,
Подхвати фарфор, зачерпни ненасытной горстью,
Из промерзлых глыб прорастают слепые пни,
Без суда верша и в песок измельчая гостью.

Я живу-не тужу в ледяном своем терему,
Тише вод, которыми нынче овраги полны.
Отпусти меня насовсем, подтолкни корму,
Потихонечку подточи, словно камень — волны.

ДРУГОЙ

К.Г.

ОН БЫЛ, ГОВОРЯТ, – БЕЗ КОТОРОГО МЫ НЕ РОДИМСЯ.
МАРИЯ ВАТУТИНА

В детстве мне говорили, будто отец мой – Бог,
Будто я, по образу и подобию, на волосок
От Него, только Он – всемогущ, милостив и высок,
Голос Его, как переполненный водосток,
Спать не давал, – но только бы не умолк!

Но я понимала, что он где-то жил-не тужил,
Детей рожал, сладко спал, никого не любил,
Долго горел, пока не погас, сгинул, сгнил,
И лишь Тот – днем и ночью меня сторожил.

А рядом – любивший маму чужой другой,
Такой как все, уходил на работу, приходил домой,
Будто я мальчик, говорил мне: «Маленький мой,
Скоро уже зима, на ветру не стой».

Но я, обращаясь к Нему, всё ждала, ждала,
Карандашом выпрастывала обескровленные слова,
Дорисовывала утаенное: огуречик, палочки, голова,
Домик с трубой, дымок – что там еще? – трава.

А на полке — книжка, а в книжке — злая Баба Яга,
На лесной опушке не домик, а костяная нога.
И, впиваясь взглядом в туманные «Дальние берега»,
Намывала из крупы манну, из бед — блага.

Только зимней ночью становилось совсем темно:
Чем плотнее воздух, тем беспросветней дно,
Дом снаружи — камень, но сердце его льняно,
И стеклянным лбом бьется об лед окно.

И когда заштриховывала картинку — да будет тьма! —
Задыхаясь в подушку — никто не нужен, сама, сама —
Тот другой распахивал занавесок склеенные тома:
«Всё пройдет, маленький мой, даже зима, зима...»

(НЕ)ДЕТСКИЙ ТРИПТИХ

1.

У меня есть дочь – умна, добра и послушна,
Не умеет давать сдачи, даже когда это нужно,
Может лишь плакать, очень тихо или очень громко,
Теребя рукав или от юбки тесемку.
Я ее не жалею. Я вообще этого не умею.
Другое дело, пожалеть чужого,
Замерзшую птицу, или, скажем, дворнягу, –
Чужому отдашь малость, и ему покажется много,
А родному жалость, как в жару и жажду – пустую флягу.
Я ее не учу давать сдачи, не учу мириться,
Не говорю банальностей, вроде «с ближним нужно делиться»,
Пусть она в свои пять набивает синяки и шишки.
Будет крепче? Вряд ли... Я ей читаю книжки:
Про хорошего мальчика, про плохого...
Ей почему-то нравятся только плохие.
Ей, наверно, их жаль, и это – осколок родного,
Битое зеркало... А стихи ей
Не читаю – зачем торопить душу
Туда, где еще одиноче, чем ветру в стужу?..

2.

Мой сын годовалый пытается встать и дойти
От этой стены до вон той неподвижной коробки,

Но он, торопясь, спотыкается на полпути
И падает на пол — глазастый, веселый, неловкий.
Пока он идет, я пророчу ему Ватерлоо —
Такие победы, что пятаются наполеоны,
Я верю в него, и молюсь, чтоб ему повезло,
И вижу: трубач на коне, золотые погоны...
Но что его ждет? Сколько раз с вороного коня
Он ниц упадет, чтобы встать или чтобы почить
На чьей-то войне, далеко-далеко от меня?
Схватить его за руку и никуда не пустить?
Вкус крови? Победы ли — тоже с кровинкою — смак?
Когда, спотыкаясь о погремушку свою,
Он падает, падает — быстро и медленно так,
А я, закрывая глаза, не ловлю, не ловлю...

З.

Дочь отпущу любить.
Сына отпущу воевать.
Я не знаю, кого винить,
Я, наверно, плохая мать.
Я не учу их доверию,
Боясь звука собственной фальши.
Детство — это преддверие:
Отворишь, и не знаешь, что дальше.

Я не учу их свободе, тоже
Часто тождественной одиночеству.
Вот они и льнут ко мне второй кожей,
Вьют из меня то, что им хочется.
Говорят, что мать — поводырь в пути,
Говорят, детей нужно учить спиной.
А я не учу, так как не знаю, куда идти,
То есть учу одному: не стоит идти за мной.



Предвечернее время дочернее —
Моголь сахара и желтка,
Барбарисовы наши тернии,
Барбарозовы облака.
Солнца палица — свет на платьице,
Осы, оводы, ободки,
Белый обруч по склону катится,
Обрамляя его в круги.
Расписное ведерко — полно ли? —
Не расплещется, донесет
До зимы, чтоб на дольки ровные
Нарезать бесконечный лед,
Чтобы зимнее это мелево
Отражалось в резьбе конька,
Видеть зарево, слышать дерево,
Словно голос издалека.
Словно я в затемненном будущем,
От которого спасу нет,
Полушепотом, жестом любящим
Открываю ларец-секрет:
Не бывать тебе одинокою —
Над тобою, как над водой,
Длинношеей взойду осокою,
Многорукою резедой.

Даже в самом глухом отчаянье,
Даже в самой пустой ночи,
Слышишь, чашки звенят нечаянно
И позвякивают ключи?
По-совиному мерно окаю,
В темноте окрыляюсь, чтоб
То подправить подушку мокрую,
То горячий потрогать лоб.
Утром бережное свечение,
Просыпаясь, не обесточь.
Предвечернее время — дочернее,
Материнское время — ночь.

ЭЛЕГИЯ ДЛЯ САБРИНЫ

Волна к волне – бесплодны эти ласки,
текуча память, скрытна недотрога,
и вся в себе – придвинешься немного,
свернется прочь, и больше ни гу-гу,
а я всю ночь рассказываю сказки
давно уснувшей девочке-цветку.

Выдумываю, будто эта морось
на темных стеклах вязью предложенья
ложится, вязнет, просит продолженья,
чернильные тревожа облака –
и спящая идет на тихий голос,
как будто ей машу издалека.

Когда-нибудь мы наловчимся, то бишь
научимся угадывать друг в друге
самих себя, отмаливать у вьюги
(чушь горожу, неправду говорю),
и став постарше, ты однажды вспомнишь,
что это я из зеркала смотрю.

Я говорю, что выпало не многим
такое счастье – отделять по капле,

по зернышку от колоса, от цапли
по перышку, по букве на окне...
Но девочка моя уже не слышит,
она давно другим дыханьем дышит,
воистину свободным и глубоким,
и сладко улыбается во сне.



АНАСТАСИИ АНДРЕЕВОЙ

Она пришла – шаги ее безвесы,
протяжна и проста ее работа,
посверкивают ножницы портняжи,
дневную укорачивая ткань.
Еще немного, и объявят рейсы,
с покатых крыш сорвутся самолеты,
вытягивая крылышки лебязьи –
к столице ли, во тьму-ли-таракань.

Втыкая в мякоть черные булавки,
нетронутого не оставив места,
проворная сентябрьская портниха
снимает мерки с матушки-земли,
стирает меты, делает поправки –
звенит копилка машинальных жестов.
Но видишь, как старательно и тихо
обкатывают горку муравьи?

Мифические ведьмы-хромоножки
полощут невесомые пеленки,
пугают скот, запутывают гривы,
дудят в многоголосую дуду,
развешивают бусы и сережки,
под плач о не родившемся ребенке

заманивают девственниц игриво
и топят в заволкшемся пруду.

А мы живем, как маленькие птицы,
мы прячем в гнездах жимолость и камни,
и сверху наблюдаем, как случайно
ведут подкопы ловкие кроты...
Но этой прачке, терпеливой пряже
мы позволяем властвовать над нами,
и длится голубиное молчанье —
от всей невыносимой красоты.



Флажки на самой главной улице
Застираны и молью трачены,
Нарядный городишко хмурится,
Взъерошенный и околпаченный.

Пожизненной грозит пропискою,
Недостижимостью итаковой,
И я пакет хрустящий тискаю,
Подарочный, универмаговый.

Хрустальными глазами хлопая,
Как будто жизнь не одноразова,
Мне девочки розовостопые
Здесь улыбаются пластмассово.

Не опознать во мне острожника,
Отбрасываем счеты личные!
Отныне вместо позвоночника —
Швы аккуратные, фабричные.

Прилавки пахнут апельсинами,
И небо — как ненастоящее.
Я — кукла с кожей гусиною,
Я просто кукла говорящая.



Потому что — снег, и в глубоком снегу пророс
Робкий саженец, подснеженный, снеговой,
Потому что вчера закончился сенокос
И усталые пахари дружно пошли домой,

Потому что пока они шли, бездорожьем шли,
С неба сыпалось — в чисто поле, на лес и луг,
Потому что саженец вырвался из земли —
Ни коса не возьмет, ни вездесущий плуг,

Потому что корень надежно в снегу сокрыт,
Из-за крепких спин проглядывает рассвет,
Завтра каждый будет одет, обогрет и сыт,
И доволен тем, чего, в самом деле, нет,

Потому что в поле один — не воин, и там, в стогу
Полегли бессчетные — и правдолюб, и лстец,
И наивный тот, который растет в снегу,
На бескрайнем свете — заведомо не жилец.

Потому и нужен, чтоб жизнь попирала смерть,
Чтоб мешался с кровью сухой и недвижимый мел,
Чтоб зима плевалась, вобрав в ледяную клеть
Мягкотелый стебель и лиственный глазомер.



На скатерти — расплющенный изюм,
Обертка серебрится, Кара-Кум
Скрипит на половицах, на ковре
Горит узор и плавится в костре.
А завтра утром будет Рождество,
А у нее под сердцем — волшебство, —
Так в сказках предваряются слова
Наивным, детским, изумленным «а...».

Так будет вновь и много раз спустя:
Впервые поднимается дитя
И держится негреющей стены,
Где с небывалой высоты видны
Перегородки, ниши, потолки,
Извив оберегающей руки.

Кто нацарапал здесь карандашом
Упрямое «всё будет хорошо»?
Не будет опьяняющей вины
И головокружащей крутизны,
Стесняющей дыхание в спираль,
А только снег и белопастораль.

Она выходит утром на мороз,
Скрипящий и парной, молоковоз,

Срезая угол, комкает настил.
Зима — примерная, хранилище белил,
Красильня, кладовая леденцов,
Стеклянных петушков и бубенцов...

Протяжно дышит, словно нараспев,
За все века ничуть не постарев,
Ни седины не нажив, ни горба,
Не видит, как колыхнется судьба,
А только ветки да лебяжий пух —
Простой на вид и царственный на слух.

Животворящий женский эгоизм —
Умение не замечать кривизн..
И кутаясь в туман, как в простыню,
Вверх выдыхает зимнее «люблю»,
Двугласное, два дымчатых кольца,
Два ореола — Сына и Отца.
На теплый выдох: «На ветру не стой» —
Вдох: «Вырасту и заслоню собой».

ЕЛЬ

Мы елку достанем, лежащую на чердаке,
Одиннадцать месяцев сна: упакована в ящик,
Жгутом перетянута крепко, в покойной тоске,
Смиренья, покорности и ожидания образчик.
Мы стащим ее по ступеням, ворча и кряхтя,
Пока осыпается зелень пластмассовой кашей,
Ей нечем болеть, ей не больно, не страшно спустя
Одиннадцать месяцев после прощального марша.
Поставим ее посредине, чтоб зимний сквозняк
Играл ее хвоей, как ветер в заснеженной чаще,
И будет всё правильной, будет всё именно так,
Как нужно, как должно — и сказочней, и настоящей.

Вот встанет она — терпелива, мудра и горда,
Послушает наше — о детях, простудах и ссорах,
Пускай в Вифлееме уже загорелась звезда,
У нас этих звезд в сундуке — нескончаемый ворох:
Красивых, бумажных, раскрашенных, полых внутри,
Из мишуры, серпантина и прочей химеры.
Такие — горят и сжигают! Смотри и гори!
И руки не спрячем, как в песне — ее кавалеры.
На ветках повыше зеркальные лягут шары,
Тряпичная кукла, щелкунчик — на ветках пониже.
Мы будем светлы, непомерно добры и светлы,
Стеклянные бусы — а не оскорбленья — нанижем.

Мы эту гирлянду кроили с тобой по кускам,
Мы с трех континентов везли драгоценный орнамент,
Чтоб рвать и шивать, чтоб сушить и латать по углам
Еще не покрытый чернильной вязью пергамент.
Так хочется праздника детям, а мы из числа
Терявшихся в детстве и так неумело взрослевших,
Лишь черные мыши пищат из пустого угла
Да сумрачный холод из окон сквозит запотевших.
За этими окнами так же спуют воробьи,
Со льдины клюющие еле заметные крохи.
За год, новый год! Без тебя, без страны, без любви,
За горький конец — через годы — прекрасной эпохи.

Когда бы не смерть, эта ель поднялась бы сама,
На самом краю, на ничем не приметной опушке,
Но бедное дерево медленно сходит с ума,
Пока мы его наряжаем в свои безделушки.
Есть что-то опасное в нашей наивной игре —
Попытка сгореть, пока лик ее ясен и светел,
Попытка найти на привычной, не нашей земле
Немного того, что не бросишь словами на ветер.
...А там, далеко, где ни ель не растет, ни сосна,
Где солнечный берег волна черногубая лижет,
В несбыточном доме ты молча стоишь у окна,
В стране по-рождественски дальней — и нет ее ближе.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРАЕКТОРИЯ СТРЕЛ

Человек без прошлого лежит на спине	7
На огромной карте, как волос, она тонка	9
Не всё ль равно, как город назовешь	11
Нынче ветер жесток и остер	13
Войну и мир звонят колокола	15
НОВОБРАНЕЦ.....	16
Напомни мне, в каком-таком аду.....	17
Фонарный луч – след от пореза, звезды серьга	19
ДЕВОЧКА НА МОСТУ	20
В канцелярии той аскетично и небогато	22
Тогда, я помню, не было зимы	23
Глазастый филин прячется в дупле.....	25
Говорят, зима – это лекарь, врачует зренья	27
Каблуков и щегля тугой офсет	28
Наш царь-полубог многоопытен и многорук.....	30
Как придут за мной двое стражников – серый волк	32
Твой мундир незапятнан и так подозрительно чист.....	34
НИКТО.....	35
Безвременье часовщика Дали.....	37
Мне битое стекло и угольки.....	39

Расти, ветвь, увиливай, река	41
Вдруг приснится, что завтра будет большой потоп	43

ЧЕРНОЕ МОЛОКО

Ничего не бойся, скоро-скоро	47
Вдоль речки, по недотканному льну	49
У нее походка Ариадны.....	50
Мой ветер, мой мастер, гордец-стеклодув	51
ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВА	52
ДЕВОЧКИ.....	54
ПОПУТЧИЦА	56
Пионерский лагерь, линейка, тоска по маме	58
ДЁД	60
ИМЕНА	62
«NIGHT WILL FALL».....	64
Бывает, умрешь, а тебя попросят, давай еще.....	66
Вот оно – подкрадывается, как склизкий ползучий гад	68
Потому что пройдет и это, всё утечет.....	70
Говорят, что им ничего не нужно – не потому	71
Когда из окна – влажный ветер – отколе?	72
Вот и свершилось: тебя не стало	73
Здесь всё по-прежнему: труба в дыму и саже.....	76
Сколько бы ты ни шел, семенишь назад	77
Зачем здесь хлеб и теплое вино	79
Я повторяю и зазубрю урок	81

В НЕКОТОРОМ ТРИДЕВЯТОМ ЦА...

Мы сложили крылья привычным «раз-два» заспинным.....	85
я когда-нибудь оторвусь от книг	87
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ	89
Когда стою у плиты и жарю картошку.....	91
ТАНГО.....	92
Всё это уже бывало, на что-то похоже.....	94
СЕМЬ ГРАММОВ.....	96
СКАЗКА	98
ПОЧТИ ПАСТОРАЛЬ	100

1. Живу ли, не чувствуя дна, плыву	102
2. Медленно открывается дверь.....	103
Здесь, на безветрии, выдох — что ветер.....	105
А потом он сделает больно, но это потом	107
ДАЛИЛА.....	108
Я смотрю в окно, муравей ползет по нулю.....	110
COMMEDIA DELL'ARTE.....	112
Кикимора, шисимора, яга	114
Наша зима больна и обречена	116

ЭКСТРЕННЫЙ ШУУДАН

Это море северно-тяжело.....	119
КИНЕМАТОГРАФ	121

Мешал цвета и звуки извлекал.....	123
Перепахивай Лету, спеши, колеси ее вброд.....	125
Я тоже из этих, невидящих дальше плеча.....	126
Я тебя отдала бы волку, да не отдам.....	128
Земля пожелтела — от стога до стога.....	129
ТОСКА ПО МЕКСИКЕ.....	131
ЛЮКСЕМБУРГ.....	133
Еще живу как в бесконечном сне.....	134
ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА.....	136
Если долго смотреть на статуэтку в чужом окне.....	138
ДРУГОЙ.....	139
(НЕ)ДЕТСКИЙ ТРИПТИХ	
1. У меня есть дочь — умна, добра и послушна.....	141
2. Мой сын годовалый пытается встать и дойти.....	141
3. Дочь отпущу любить.....	142
Предвечернее время дочернее.....	144
ЭЛЕГИЯ ДЛЯ САБРИНЫ.....	146
Она пришла — шаги ее безвесы.....	148
Флажки на самой главной улице.....	150
Потому что — снег, и в глубоком снегу пророс.....	151
На скатерти — расплющенный изюм.....	152
ЕЛЬ.....	154

Гарбер Марина

Каждый в своем раю
Стихотворения

Редактор О. Кольцова

Подписано в печать 10.07.15. Формат 70x108/32
Бумага офсетная Гарнитура FreeSet
Печать цифровая. Печ. л. 5
Заказ №

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>
E-mail: info@vodoleybooks.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru, 8(495)988-63-87

